

НОВЫЙ МИР

Ж 7915

8

МОСКВА

1942

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1942 г.

№ 8

Год издания XIX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Алексей Сурков — Стихи	3
С. Сергеев-Ценский — Брусиловский прорыв, исторический роман в 2-х частях	6
К. Симонов — Единственный сын, рассказ	39
Степан Щипачев — Перед боем, стихотворение	49
Леонид Леонов — Нашествие, пьеса в 4-х действиях	50
Л. Осипов — Смерть боцмана, рассказ	86

Проф. Н. И. Проппер-Гращенков — Война и медицина	88

В. Кирпотин — «Падение Парижа» Эренбурга и вопрос о судьбе европейской культуры	98

БИБЛИОГРАФИЯ

Бор. Сергеев — Герои нашего времени	122
О. Резник — Сказки по-новому	126
Вл. Афанасьев — Душа советского человека	127

Ж 7915

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ

На совесть отрыта землянка.
Сосновый накат в три ряда.
И хлеб, и консервная банка,
И русская злая вода.

По-братски в железные кружки
Сердиту воду разлей.
Со смертью в стальные игрушки
Всем вместе играть веселей.

В игре этой яростной ровня
И дед партизанский седой,
И ты, мой товарищ полковник,
И ты — лейтенант молодой.

В неистовом лязге и вое
Мы кружки осушим до дна
За сердце солдата живое,
За будущие времена.

За молодость — наше богатство,
За пушечный грозный набат,
За наше окопное братство
Прямых и упрямых ребят.

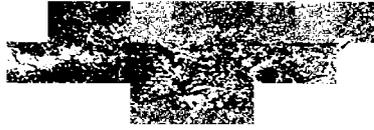
За наши рабочие руки,
За радость и творческий труд,
За время, которому внуки
Сравнений не подберут.



СТИХИ О ДРУЖБЕ

К. Симонову

Ты дерзко молод и поныне.
Но лучики у глаз легли
И жгучие ростки полыни
Сквозь ткани сердца проросли.
Как мне знакомо жженье это.
По нем я в памяти найду
Незабываемое лето
В забываемом году.
Сквозь ночь, казавшуюся адом,
В рассвет поверив горячо,
Мы стали продираться рядом
Рука к руке, к плечу плечо.
В полях, где все подряд косила
Войны железная коса,
Любви и ненависти сила
Сливалась наши голоса.
Сквозь дым ночей и сумрак серый
Мы бережно несли вперед
Негаснущее пламя веры
В наш русский, в наш родной народ.
А тех, кто верить не устали,
Союзом душ роднит беда.
Такая дружба тверже стали —
Она приходит навсегда.



Брусилловский прорыв

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Исторический роман в 2-х частях

★

Часть I. БУРНАЯ ВЕСНА

★

Глава первая В ПУТИ НА ФРОНТ

1.

Лучился и сиял широкий южный день конца марта 1916 года.

Погромыживая на стыках рельсов, добросовестно пыхтя локомотивом, однако не слишком спеша, двигался на запад пассажирский поезд, почти целиком из красных вагонов «четвертого» класса.

В купе единственного желтого вагона было тесно, — все шесть мест заняты, но довольно густо стояли в проходе, — поезд был переполнен. Машинист вел его в расположение одной из армий Юго-Западного фронта, главнокомандующим которого незадолго перед тем был назначен на место генерала от артиллерии Иванова генерал от кавалерии Брусиллов.

Так как все пассажиры купе были офицеры, то вполне естественно, что разговор между ними шел именно об этом. Ведь у каждого из них была та гнетущая неизвестность, в которой вершителем судеб в большой мере являлся главнокомандующий, позади же болезненно ныла одна только обидная горечь военных неудач.

Но все эти неудачи свалились на Россию благодаря кому же? — Это был острый и большой вопрос. Его решали везде в мире и везде в самой России, где хоть сколько-нибудь работала мысль; пытались решать его и здесь,

в насквозь прокуренном, синем от дыма, несмотря на открытое окно, купе.

Старшим по чину оказался здесь подполковник интендантского ведомства, человек слабо запоминающейся внешности и мягких манер, несколько старше сорока лет на вид, с академическим значком на тужурке.

Говоря немного в нос и как будто даже делая это намеренно, он обращался преимущественно к своему визави — капитану артиллерии, имевшему упрямый выпуклый лоб и жесткие, подстриженные черные усы:

— В Киеве я был в командировке по делам снабжения седьмой армии, и там, представьте вы себе, от многих слышал, что генерал Иванов считает войну уже окончательно проигранной и будто бы несколько раз докладывал самому государю, что был бы рад, если бы ему удалось защитить Киев, — только Киев, — а все остальное, что на запад от Киева, это, по его мнению, уже обречено и не-за-щи-ти-мо!

— Как так незащитимо? — удивился капитан. — Фронт сейчас в трехстах верстах от Киева, это во-первых, а во-вторых, любую позицию можно защитить, были бы только снаряды.

— И желание защищаться, — скромно добавил один из двух в купе прапорщиков, — белокурый, узкоплечий, смуглый на вид, однако с очень располагающей к себе внешностью. Впрочем, он

тут же вышел из купе, притворив за собою дверь.

— «Любую позицию» можно защищать только тогда, когда она по-настоящему мощная позиция, — эта поправка необходима, — улыбаясь, обратился непосредственно к артиллеристу поручик инженерных войск, сидевший рядом с интендантом, густобровый, сероглазый, куривший из небольшой трубки какой-то очень вонючий табак. — Французы, например, вот которую уж неделю защищают Верден, — это позиция мощная, а Брест-Литовск не продержался и десяти дней, а Ковно было взято за неделю, даже, кажется, меньше того.

— А кто Ковно защищал, кто? — бурно возразил поручику штабс-ротмистр, кавказец по обличью и по акценту. — Генерал Григорьев, который бежал из гарнизона? Вопрос, сколько он получил с немцев, на суде подымался, а? Не подымался... Присудили только на пятнадцать лет каторги, а надо было повесить! Повесить, как полковника Мясоедова, немецкого шпиона, вот как надо было, а то каторга!

— Тем более, что генерал этот уже весьма староват, и пятнадцать лет каторги или один год для него решительно безразлично, — насмешливо вставил другой прапорщик с лицом бледным, как после долгой болезни, но тем не менее энергичным. Он с трудом выносил табачный дым, с явным неудовольствием смотрел на поручика и непосредственно после сказанного по поводу наказания генерала Григорьева буркнул своему соседу: — Послушайте, чорт возьми, что вы такое курите, поручик? Это не шкура ли какого-нибудь скунса, от которого бегут, как известно, даже и леопарды, затыкая носы хвостами?

— Никак нет, — это все-таки табак, — весело отозвался на это поручик, — только не отечественный, а немецкий: нашли наши солдаты в отбитом окопе ящик с таким табаком.

— И здесь немец гадит! Уверяю вас, что этот ящик оставлен сознательно, чтобы вас извести медленной пыткой! Это провокация, а не табак, — сказал прапорщик, блеснув карими живыми

глазами. — Всякая война вообще довольно обдуманная штука, но так изощряться во всевозможных каверзах, как немцы, это значит уж сделать из войны профессию. Говорил же Бисмарк о румынах, что это не нация, а профессия, однако и немцы это тоже профессия.. необыкновенно опасная для всего человечества в целом, а в первую очередь для нас, способных курить их скунсов и виверр и находить в этом удовольствие.

Инженер-поручик дотянулся рукою с трубкой до окна, выбил из нее табак и примирительным тоном обратился к прапорщику:

— Вы видели, что я сделал? Теперь открывайте мне свой портсигар.

— Откуда вы взяли, что у меня есть портсигар? — несколько удивился прапорщик. — Нет и никогда не было. Табак я все-таки выносил прежде, могу выносить и теперь, хотя уже пробит пулей (тут он указал пальцем на грудь). Но суть дела всецело в том, защитима или незащитима русская земля, и почему она была защитима прежде, и почему это свойство ее так резко изменилось теперь.

Университетский крестик, хотя и примелькавший уже на тужурках прапорщиков, энергичное лицо, свободно льющаяся речь и жесты, ее естественно дополняющие, — все это заставило подполковника-интенданта спросить:

— Простите, вы — юрист? Адвокат, наверное?

— Нет, я — математик, — ответил прапорщик. — И, как математик, я ищу доказательств, чтобы притти к священной для всех математиков фразе: что и требовалось доказать. Если Иванов заменен Брусиловым, то значит ли это, что хотели сделать лучше?

— Но ведь Брусилов-то как никак боевой генерал, — ответил на этот вопрос артиллерист, — а какие же боевые подвиги значатся в послужном списке у Иванова? Ведь он — куропаткинец!

— А это разве не подвиг, что он — крестный папаша наследника престола? — подкивнул прапорщик. — Я от кого-то слышал, что сама Александра Федоровна пишет ему иногда по-русски так: «Крестник ваш жилает дедушке все-

во лушаго». Как же можно было сместь такое близкое к престолу лицо и назначить взамен какого-то вообще генерала Брусилова? Нет, как хотите, а ясности тут решительно никакой нет, если только этого не потребовали наши союзннки.

— Вот именно, — они-то, союзники, и требуют наступления, — подхватил инженер-поручик, а штабс-ротмистр, кавказец, с предупредительной миной на густо загорелом лице, дополнил:

— А между тем, господа, сами немцы все время пишут, что они готовят на нас решительное наступление весной!

— Значит, не только защищаться, а нападать мы должны, — поэтому и Брусилов — главнокомандующий, — сказал прапорщик, обращаясь к капитану-артиллеристу. — Но вот вы сказали: «Были бы снаряды», а я в госпитале отстал от событий и не знаю, как у нас со снарядами.

— Снаряды на фронт гонят и гонят, снарядного голода теперь долго не будет, — ответил артиллерист и добавил безразличным тоном: — А вы где были ранены?

— На позициях против села Кбссув, — таким же безразличным тоном ответил прапорщик, но капитан подхватил оживленно:

— Кбссув?.. Слышал я что-то об этом Кбссуве: не-то там на позициях много солдат наших замерзло, не-то какой-то пехотный полк самовольно оттуда ушел зимой...

— Было-было, и то и другое в непосредственной связи, — ответил прапорщик, однако без всякого желанья говорить об этом полнее.

— То-то вы и ставите вопрос: защитима или не защитима наша зсмля, — участливо обернулся к нему интендант и вдруг спросил неожиданно для прапорщика: — Ваша фамилия, простите?

— Ливенцев, — ответил тот и так как интендант переспросил, не разобрав, то пояснил: — Фамилия сия происходит от названия одного города в Орловской губернии — Ливны, о котором принято говорить: «Ливны — всем ворам дивны»...

Это почему-то рассмешило всех в купе, — даже интендант улыбнулся. А поручик, снова набивая трубку своим невозможным трофейным табаком из вышитого бисером кисета, сказал прапорщику Ливенцеву:

— Слышал я, что от вашей Орловской не отстает и Тверская, а также Витебская. По крайней мере факт будто бы тот, что тверской помещик Офросимов, — он же член государственного совета, а не кто-нибудь вообще, — объединился со своим зятем, тоже помещиком, председателем Витебского земства, и общими усилиями они обработали казну на огромную что-то сумму — так что трудно и сосчитать.

— Выкладывайте данные, я сосчитаю, — я математик, — с большим интересом отозвался на это Ливенцев.

— Да ведь вот опять я вам буду мешать своей трубкой, — лукаво покосился на него поручик.

— Ничего уж, как-нибудь вытерплю.

— Да всех обстоятельств дела я в сам не знаю. Получил будто бы этот Офросимов подряд на шитье солдатских сапог, а в Тверской губернии есть такое село — Кимры, где только этим все и занимаются — сапоги шьют — и старики, и ребята, и бабы, — все под итог... Ну, вот, значит, Офросимову, как он тверской помещик и член государственного совета, и кожи в руки.

— Кожи для солдатских сапог? И много? — оживленно, однако не без лукавства, спросил интендант.

— Мне кажется, что-то очень много, так что я даже усомнился: двести тысяч пудов! — и вопросительно посмотрел на интенданта поручик, но интендант отозвался, пожав плечами:

— Что же, — большому кораблю — большое и плаванье... Я про это дело знаю: интендантство ведь продало Офросимову эти кожи, а не кто другой.

— Но дело в том, что кожи эти он со своим зятем купил у казны по четыре рубля за пуд и, не успев еще внести за них деньги, которых и не было у обоих компаньонов, — ведь, почитай, миллион! — перепродал кожи партиями частным поставщикам сапог по двадцать уже рублей за пуд!

— А это уж четыре миллиона! — оставил Ливенцев.

— Вопрос: сколько за пару сапог будут драть с казны эти поставщики? — возмущенно заметил кавказец, а капитан кивнул ему выразительно, добавив при этом:

— Охулки на руку не положат, — будьте покойны!.. Мне кажется даже, что депутаты Шингарев и Годнев внесли вопрос об этих кожах в государственную думу, — и я в свое время читал в газетах, что дело об этом подниматься не будет.

— Вот видите, господа, как воруют тверские и витебские! — с загоревшимися глазами обратился Ливенцев непосредственно к артиллеристу. — Орловским, конечно, не уступают. Но любопытно бы знать, из каких губерний вышли дельцы артиллерийского ведомства, перед которыми, — если верить слухам, — все эти члены государственного совета — воры, просто мальчишки и щенки!

— А что такое? Какие дельцы артиллерийского ведомства? — обиженным несколько тоном спросил капитан.

— Неужели не знаете? — удивился Ливенцев. — А в тылу ведь говорят об этом без утайки. Я знаю, что снарядов у нас не было уже в начале войны. Тяжелых орудий у нас тоже было очень мало...

— И сейчас мало, — вставил капитан.

— Вот видите как! А между тем ревизия обнаружила, что не четыре миллиона, а целых два миллиарда прикарманили молодцы из артиллерийского ведомства в Петрограде!

— Разве два миллиарда? — счел нужным удивиться интендант, хотя тут же добавил: — Я что-то слышал подобное, но не давал веры: мало ли что болтают!

— Какое же «болтают», когда уж и особая комиссия назначена для расследования этого дела, — возразил Ливенцев, — и возглавляет эту комиссию прокурор рижского окружного суда Якоби!

— Я не читал об этом в газетах, — сказал поручик.

— Еще бы так вот и напечатали это в газете! — вскинулся на него штабс-ротмистр.

— Слухи верные, так как называют и имена, — продолжал Ливенцев. — Говорят даже, что великий князь Сергей Михайлович, ведающий артиллерийскими делами, пытается сорвать расследование, науськивает на Якоби известного сенатора Гарина, но дело уж получило большую огласку, хотя и в стороне от газет. Если о законной жене иные знатоки жизни говорят: «Жена — не стакан вина, — один не выпьешь», то тем более о двух миллиардах можно сказать, что рассовать их можно было только в очень большое количество карманов... между прочим и в карманчик балерины Кшесинской, которую, как всем известно, содержит сам великий князь. Авось, расследование выяснит, кто скопился там, в артиллерийском ведомстве в Петрограде, — не немцы ли?

— Сухомлинов, бывший военный министр, как кажется, не из немцев, однако где он сейчас? — вопросом на вопрос ответил Ливенцеву интендант, но кавказец штабс-ротмистр быстро подержал прапорщика:

— Если даже и не немец, так что из того? Сам не немец, — так зато жена немка или в этом роде! А вы знаете, как приказано относиться у нас к пленным немцам? Наши пленные работают у немцев, как черти, а немцы у нас в плену пальцем о палец не ударят. Кто настоял на этом? — Александра Федоровна, — вот кто! Потому что ярая немка!

— Я тоже слышал довольно пакостную историю насчет валенок, — сказал капитан. — Будто бы немцы прошлым летом закупили у нас и вывезли через Финляндию огромную партию валенок... Спрашивается, кто же им продал их и кто позволил вывезти?

— Даже и хлеб вывозили через ту же Финляндию сотнями тысяч пудов, — добавил интендант, — а у нас теперь большие затруднения с доставкой хлеба на Северный фронт и даже в Петроград.

— Вот видите, — и вы кое-что знаете! — подхватил это Ливенцев. — Спрашивается, с кем же мы воюем? И там ли мы воюем, где следует? И нет ли в этой омене главнокомандующих.

Юго-Западного фронта какого-нибудь далеко рассчитанного хода, как у заправских шахматистов?

— То-есть, какого же именно? — спросил поручик, отрываясь от своей зловонной трубки.

Ливенцев отмахнул от себя дым рукой и ответил неопределенно:

— «Наружность иногда обманчива бывает»... Это из басни. А иногда делают с виду «как можно лучше», только затем, чтобы вышло как можно хуже.

— Кто же так делает? — не понял капитан.

— Кто? Да вот именно те, кто ведет высшей политикой, — сказал Ливенцев. — Те, кто могут безнаказанно рассовать по карманам два миллиарда и оставить фронт без снарядов и пушек; кто производит, тоже безнаказанно, — уголовные махинации с кожей для солдатских сапог и тем самым разувает фронт; те самые, кто продает и валенки и хлеб, чтобы у нас не было ни тех, ни другого, а у немцев, чтобы непременно было; те самые, при ком нельзя даже и заикнуться о том, что у нас в армии подозрительно много генералов немцев, потому что сейчас же они обзовут это «пошлым немецеством»... А Вильгельм тем временем всячески добивается, чтобы Швеция или сама бы выступила против нас, или хотя бы пропустила его войска через свою территорию, потому что в Берлине уже готов план напасть через Финляндию на Петроград, — так сказать, в самый центр мишени направить удар. О том же, чтобы у нас фронт был везде и всюду, куда ни повернешь, об этом Вильгельм и его присные позаботились гораздо раньше, конечно, чем начали против нас войну.

— Так что выходит по-вашему, что это удивительно даже, как мы почти уж два года воюем, а? — спросил, улыбаясь, поручик. — Однако все-таки вот воюем.

— Разумеется, воюем, что же больше делать? — улынулся и Ливенцев. — Вопрос только в том, во имя чего воюем... Ничто в природе не пропадает, — это закон. Не пропадают зря и все наши усилия и жертвы, конечно. Жерт-

вы эти приносятся на алтарь, только, какому богу? Поскольку я — человек любознательный, то мне хотелось бы узнать это заранее, а не тогда, когда меня укошат и когда я, будучи уж бесплотным духом, стану всеведущ.

— Вы разве верите в это? — удивленно спросил его поручик.

Ливенцев заметил, что не менее удивленно поглядели на него и другие офицеры, поэтому он шире распустил свою улыбку и ответил не столько поручику, сколько всем вообще:

— Вот видите как, — скажешь не на уроке закона божия, а вот так в приватной беседе о бессмертии души, и на тебя смотрят, как на спятившего с ума. А между тем тот же генерал Брусилов, насколько я слышал, усердно занимается на досуге столоверчением, вызывает дух своей покойной жены, задает ему, этому духу, вопросы и будто бы получает ответы. Пусть это, как бы это сказать помягче, — маленькая и вполне простительная в его почтенные годы слабость, но я бы на его месте этого не делал, — неудобно как-то в двадцатом веке терять время на такие пасьянсы, тем более главнокомандующему целым фронтом!

— Злой, злой у вас язык, прапорщик! — деланно-добродушно заметил интендант, но Ливенцев не согласился с этим.

— Язык обывательский, а не злой. И совсем не таким языком надо бы говорить о том, что творится вокруг нас и что творят с нами. Но если даже и плетью, как известно, обуха не перешибешь, то языком тем более.

В это время другой прапорщик, белокурый и скромный, выходявший из вагона, вошел в вагон снова и сказал:

— Сейчас, господа, подъезжаем к большой станции, где есть буфет.

— Что и требовалось доказать! — весело отозвался ему за всех Ливенцев.

И в купе началось оживление, которое всегда бывает у засидевшихся путешественников, когда им преподносится возможность выйти из вагона, пройти по перрону, поглазеть туда-сюда по сторонам, съесть тарелку борща, выпить стакан чаю.

2.

На станции этой пассажирский поезд стоял долго, — пропущал поезда товарные: одни порожняком идущие с фронта, другие — груженные орудиями, боевыми припасами, продовольствием, маршевыми командами — на фронт.

Здесь вообще уже чувствовалась близость фронта, знакомая прапорщику Ливенцеву. Однако, отвыкнув от этой суеты за два месяца, проведенных в тыловом госпитале, он присматривался ко всему кругом с большим любопытством.

Когда его увозили с фронта, стояла еще зима, крутила поземка, поля лежали белые до горизонта, на котором толпились тоже белые холмы; теперь же упруго все дрожало, как туго натянутая струна, весенним подъемом сил. Ощутительно било в глаза это брожение по всем бодрым и бойким весенним докам, но в то же время хотелось думать Ливенцеву, что весна весною, а подъем настроения — сам по себе. Точнее, — счастливое совпадение двух весен, — в природе, как и на фронте.

Маршевики в вагонах, уходящих от станции к западу, заливались гармониками — «ливенками», гремели песнями, и никакого не чувствовалось в этом надрыва, напротив, заливались и гремели от чистого сердца и не спрыгну: — водкой! ведь их никто не поил тут на станции. Суета на вокзале, на перроне, на путях была не беспорядочная, а деловая, необходимая суета, не слишком крикливая. Это заметил и белокурый прапорщик, который старался здесь, на вокзале, держаться поближе к Ливенцеву.

У него были свои затаенные мысли, которые он хотел кому-нибудь доверить, но, видимо, боялся, чтобы его не вышутили, поэтому не к кадровым офицерам, а к своему брату-прапорщику он с ними и обратился, застенчиво улыбаясь:

— Вот, знаете ли, смотрю на вас, — вы ведь гораздо старше меня годами и на фронте уж были, — поймите меня, пожалуйста, как надо... очень не хочется умирать!

Сказал и как-то сразу осекся и гля-

дел оробело, но Ливенцев отозвался ему просто:

— Кому же и хочется? Никому не хочется, исключая помешанных на идее самоубийства.

— Вы согласны? — обрадовался застенчивый прапорщик. — Меня это очень угнетает, — сказать откровенно, — но я вот и школу прапорщиков окончил, и в полк иду, а как я там буду, не знаю.

— Ничего, втянетесь и будете, как все.

— Главное, я ведь совсем не военный по своему складу характера.

— Да, уж теперь мало осталось военных по натуре, зато много стало военных по приказанию.

— Вот именно, именно! И я такой... И я думаю, что меня в первом же сражении убьют.

— Могут убить и до первого сражения, — усмехнулся Ливенцев. — Перестрелки ведь на фронте всегда бывают, и сражениями они не считаются... Там все гораздо проще, чем представляется издали. Неприятельская пуля летит по своей траектории; на ее пути оказались вы; ясно, что она в вас и вопьется.

— Так было и с вами тоже?

— Совершенно так было и со мной. А что касается подвига, то никакого особенного подвига, я не совершил и сейчас тоже не думаю, что совершу.

— Не думаете, что совершите, или не хотите думать о подвиге?

На этот неожиданно витиеватый вопрос Ливенцев ответил намеренно витиевато:

— Даже и подвиг, как все в нашей жизни, требует, чтобы его оценили и занесли в соответственную графу, а если нет поблизости этого оценщика, то, стало быть, нет и подвига. Простое же выполнение воинских обязанностей за подвиг считать не принято.

Так как на очень внимательном художавом лице собеседника начинал просвечивать какой-то новый, наивный, однако трудный для решения вопрос, то, чтобы предупредить его, Ливенцев до-
бавил:

— Кстати, моя фамилия — Ливенцев, а ваша?

— Обидин... Прапорщик Обидин, — горопливо ответил белокурый.

— А в какой же, между прочим, полк вы назначены, прапорщик Обидин? — спросил Ливенцев, так как на защитного цвета погоне Обидина была только звездочка, но не было никаких цифр.

И Обидин назвал как-раз тот самый полк, в который был назначен и Ливенцев.

— Вот ка-ак! — удивленно протянул он. — Так мы с вами, не желающим умирать, однополчане, значит? Такие-то бывают счастливые совпадения субстанций!

Но если Ливенцев несколько удивился, то Обидин непритворно обрадовался такому совпадению и весь так и лучился изнутри, когда говорил не совсем складно:

— Это замечательно, послушайте! Это прямо, я даже не понимаю, как... Ведь вас, конечно, ротным командиром назначат... Возьмите меня к себе в полуротные! Ей-богу, право, возьмите!

— Погодите просить, что вы! Вам тоже роту дадут, — за этим дело не станет.

— Ну куда же мне так вот сразу и роту, что вы! — отмахнулся обеими руками Обидин. — Да я и командовать не сумею. Там каждый рядовой больше знает, чем я, только-что из школы, а уж об унтерах и говорить нечего!

— Вот унтера и фельдфебель вас и обучат фронтовой мудрости... А что это такое там, позвольте-ка? Поглядите-ка сюда!

Внимание Ливенцева привлекло стадо волов, которое показалось невдалеке от станции, когда двинулся поезд с орудиями, прикрытыми брезентом.

— Что там такое? Волы? — спросил Обидин.

— Волы-то волы, да в каком виде! По ним можно, не снимая с них шкур, изучать скелет! Посмотрите, — они просто падают один на другого!

— Это для фронта?

— Разумеется, для фронта, но куда же они годятся? Да они и не дойдут до фронта, — подохнут дорогой!

Как-раз в это время подошел к ним интендант, доставший в буфете что-то,

завернутое в газету, и подхватил последние слова Ливенцева:

— Вы бы спросили, сколько подыхает от бескормицы вообще в этих «гуртах скота», я бы вам сказал довольно точно. В среднем из трех два, — это какой процент будет?

— Шестьдесят шесть! Неужели все-таки шестьдесят шесть процентов, и вы, интенданты, это терпите? — возмутился Ливенцев.

Но интендант ответил довольно невозмутимо:

— Не мы, не мы, — на нас прошу не валить! Мы это гиблое дело передали уполномоченным министерства земледелия, и теперь уж они этим ведают, а мы в стороне. Вы себе представить не можете, сколько скотов оказывается у нас, чуть только их приставят к такому хлебному занятию, как доставка гуртов скота! Ведь они мало того, что кормовые деньги себе в карманы кладут, они еще по дороге меняют порядочную скотину на полудохлую, — зарятся на дачу! Уверю вас, что казне было бы выгоднее кормить солдат сибирскими рябчиками, чем мясом!..

— Слыхали? — обратился к Обидину Ливенцев, но тот был всеобщим замечено смущен тем, что услышал, и спросил интенданта:

— А сколько, господин полковник, съедает таких волов фронт в день?

— Смотря, какой фронт... Наш, Юго-Западный, я знаю, съедает вместе со своими тыловыми частями семнадцать с половиной тысяч голов в неделю, но это, имея в виду, что по средам и пятницам он постится, и тогда в котел идет кетà или другая рыба. А в общем, конечно, стихийное бедствие, и если в этом году война не кончится, то в будущем именно гуртовщики ее и козчат: на голодное брюхо много не навоюешь!

Сказал и отошел, улыбаясь, осторожно держа что-то завернутое в газету, а подошедший с запада санитарный поезд закрыл тощее стадо качающихся на ходу, совершенно фантастических, особенно в такой яркий день, животных, необычайно длинноногих от худобы, с резкими бликами на всех позвонках и с густыми тенями во всех впадинах хлип-

ких тел. Масти они были серой, но издали казались голубыми.

К санитарному поезду, шелестя шелком черного платья, прошла по перрону мимо Ливенцева какая-то молодая женщина, показавшаяся ему знакомой: где-то видел и этот взгляд, и эти высокие полукружия бровей, и постанова головы на ровной белой открытой шее, и даже эту четкую походку.

Он следил за нею, когда она шла к последнему вагону прибывшего с запада поезда, и был очень удивлен, увидев какого-то рыжеусого унтер-офицера, спрыгнувшего с подножек этого вагона и расцеловавшего с дамой, как с родною. Но еще больше удивило его, что следом за этим унтером вышел из вагона и тоже спрыгнул другой унтер, — бородастый, осанистый, — один из взводных командиров его бывшей роты — Старосила.

И, несмотря на то, что он не захотел возвращаться в прежний полк и выхлопотал себе перевод даже и в другую дивизию, он обрадованно крикнул, сделав рупором руки:

— Старосила!

Тот присмотрелся и тут же, одернув гимнастерку и поправив фуражку, пошел к Ливенцеву, только успевшему сказать прапорщику Обидину:

— Это — мой боевой товарищ!

— Ваше благородие, честь имею явиться! — казенными словами приветствовал его Старосила, сияя запавшими серыми глазами, но Ливенцев обнял его и ткнулся лицом в его бороду, точно желая показать даме, которая в это время на него смотрела, что у него тоже есть родной унтер.

— Очень рад я, братец, что ты жив, очень! — вполне искренно говорил Ливенцев, любуясь бородачом.

— Так же и я само, ваше благородие! Аж точно сонечко мне в глаза вдарило, как вас увидел! — вполне искренно и с дрожью в голосе отозвался Старосила.

— А как же ты сюда попал? По какому случаю?

— Да случай, как бы сказать, непредвиденный, ваше благородие, — понизил голос Старосила, слегка качнув

головой назад, на вагон. — Тело сопроводить был назначен.

— Тело? Чье тело?

— Так что, подполковника Добычина, — еще больше понизил голос Старосила и закончил почти шепотом: — А этот со мной — полковой каптенармус Макухин, он приходился ему зять, покойному, а эта с ним стоит сейчас — его дочка, ваше благородие.

— Вот ка-ак!

Ливенцев сделал несколько шагов по перрону, чтобы можно было говорить громче, и спросил, хотя не питал никакого расположения к Добычину во время службы с ним в одном полку:

— Как же все-таки он был убит, — при каких обстоятельствах?

— Обстоятельства такие, ваше благородие... бандировка была, — и найдись осколок на ихнюю голову, — в один раз упали — и неживые, — объяснил Старосила и добавил: — Я только до этой станции должен, а дальше не знаю уж, как: везти ли его будут на ихнюю родину, или здесь где похавают... Унтер-офицер этот, каптенармус, Макухин, он, говорили так, из богатых людей, — вполне может и дальше ехать, — ему что! И даже гроб он достал не простой, а цинковый.

— Это был наш заведующий хозяйством — подполковник Добычин, — обратился к Обидину Ливенцев, а Старосила сказал:

— Вот рады будут все в нашей роте, как вы ее опять примете, ваше благородие!

— Ну, вот, рады, что ты, брат, — не все ли равно, что я, что другой?

— Как можно, ваше благородие! Разве наша солдатня, она хотя бы какая ни на есть, не понимает? — и Старосила почему-то поглядел при этом на Обидина и добавил: — Не в нашу ли роту и вы тоже будете?

— Нет, я в другой полк, — ответил, улыбнувшись, Обидин.

— Я тоже в другой полк, — его же словами ответил Старосиле и Ливенцев.

— Шуткуете? — оторопел Старосила.

— Ничуть. Вполне серьезно! Даже в другую дивизию.

И видя, что Старосила вполне непри-
торно опечален, хлопнул его по плечу,
объясняя:

— С начальством ничего не подела-
ешь, — взяло и назначило в другую ди-
визию: там я оказался нужнее... Про-
щай, брат, Старосила! Мне надо итти
в свой вагон, — торопливо сказал он
вдруг, обнял его так же, как и при
встрече, и пошел, едва взглянув в сто-
рону дочери Добычина и ее мужа—Ма-
кухина.

— Вот не думал, что такая сидит во
мне привычка к своей роте, — изви-
няющимся тоном обратился он к Оби-
дину. — Великое дело оказались окопы,
в которых вместе торчали, которые и
заняли вместе в бою... А вот Старо-
сила, он был толковый взводный, если
бы в новом полку были у меня хоть не-
много похожие, — стал бы я, как го-
ворится, кум королю и сват Гаврику.

Обидин поглядел на него испытующе
и спросил осторожно:

— То-есть, толковый он был взвод-
ный в смысле защиты или как-нибудь
еще?

— И защиты и атаки тоже, а как же
иначе? — немного удивился и тону, и
смыслу этого вопроса Ливенцев.

Кругом снова толпа военных всяких
рангов — шумная и однообразная, лишь
кое-где расцвеченная белыми халатами
сестер милосердия и их яркими красны-
ми крестами. Сестры были из санитарно-
го поезда — дома скорби на колесах.

Оттуда и туда резво бежали засидев-
шиеся санитары с чайниками. Там в од-
ном из вагонов кто-то громко воюще
стонал с небольшими перерывами; в то
же время два военных врача, шинели
внакидку, медленно прогуливались в те-
ни около другого вагона.

По платформе тяжело двигались те-
лежки с ящиками из новеньких веселых
досок и фанеры, на которых что-то бы-
ло написано, — наляпано черной кра-
ской. То-и-дело слышались рабочие кри-
ки: — Посторонитесь!.. Дайте ходу!..
Поберегись, эй!

Весна и тепло между тем заставляли
многих забывать о том, что отсюда уже
не очень далеко до фронта, где очень
часто режут пушки и стрекочут пулеме-

ты. То там, то здесь вспыхивал зали-
вистый женский смех, заботливо под-
кручивались усы, молодежато выпячи-
вались груди, кое у кого украшенные
белыми крестиками.

Но исподволь во все звуки вокзала,
покрывая их, врвался сверху жужжа-
щий однообразный ровный гул, и когда
он заставил всех поднять головы квер-
ху, послышались крики:

— Аэроплан!

— Немецкий!

— Почему же немецкий? Может
быть, и наш!

— А зачем здесь наш?

— Немецкий! Вот увидите!

— Сейчас начнет бросать бомбы!

— Да что вы говорите!

— Говорю, что надо! А другого не
видно?

— Кажется, нигде не видно...

Шеи всех вытягивались, наблюдая за
полетом вражеского самолета, и в то же
время все пятились назад, готовясь куд-
да-то и как-то скрыться от губитель-
ной бомбы, которая, казалось, вот-вот
полетит вниз на станционное здание
или на перрон, или на какой-либо из
поездов, стоящих на путях в ожидании
отправки.

Воздушная машина кружилась над
станцией замедленно и довольно низко.
Ни у кого уж не оставалось сомнения
в том, что она немецкая. Спрашивали
один другого, неужели здесь нет дру-
дий, чтобы сбить разбойника. Дамы со-
чли самым надежным укрытием зал
первого класса и кинулись туда тол-
пой...

Тревога оказалась напрасной, — аэ-
роплан потянул к западу и, наконец,
скрылся из глаз.

— Сфотографировал немец станцию
и ушел, — сказал Ливенцев подошед-
шему к нему артиллеристу, — а бомб не
бросал, хотя и мог бы.

— Вообще они только приличия ради
пишут о своем весеннем наступлении на
нас от моря до моря, а на самом деле
задирать нас желания пока не имеют, —
отозвался капитан.

— Почему же все-таки не имеют же-
лания? — с живейшим интересом спро-
сил Обидин.

— Ну, известно уж почему! — усмеялся капитан. — О сепаратном мире с нами ведутся переговоры. Александра Федоровна вкупе с Распутиным стараются изо всех сил.

— Я даже слышал мельком, — встал Ливенцев, — будто Распутин по пьяной лавочке говорил одному адвокату: — «Если мы в марте не подпишем с немцами мира, — наплюй мне тогда в рожу!».. Адвокат этот распускал такой слух в феврале...

— А март уже прошел... — перебил его капитан.

— Отсюда следует, что был бы теперь под рукой у адвоката Распутин, а наплевать ему в косматую рожу он уже имел право, — закончил Ливенцев.

— Зато Россия-то ведь не имеет права на сепаратный мир, — как же может она его заключить? — не совсем смело, однако с затаенной надеждой на желательный ответ спросил его Обидин. И Ливенцев оправдал его надежду.

— Э-э, — сказал он, — «не имеет права!»... Право мы носим на концах наших штыков... за неизменем у нас более выразительных средств войны. Дело не в том совсем, имеем или не имеем мы права заключать мир, а выгодно ли это для нас или не выгодно. Мы можем заключить мир, даже, пожалуй, получить и какую-нибудь прирезку территории по этому миру, но зато мы развяжем руки Вильгельму, и он всеми своими силами обрушится на Запад и его раздавит... А когда он сделает это, то что ему помешает, несмотря на мир с нами, послать против нас, демобилизованных, все армии свои с Запада? Это и будет *divide et impera!* — разделяй и властвуй.

— Так что, по-вашему выходит, — выбора у нас нет, — продолжать эту бойню мы должны? — с тоскою в голосе спросил Обидин.

— Да, выбора нет, — должны, — его же словами, но твердо ответил Ливенцев.

— Тогда что же... тогда... не о чем и говорить больше... Остается одно — помирать. — пробормотал Обидин.

Ливенцеву, видимо, стало жаль его.

Он положил руки ему на плечо и сказал, улыбаясь:

— Помереть мы с вами всегда успеем, но сначала надо попробовать кое-что путное сделать.

— А что же именно «путное»?

— Да, в самом деле, что вы называете «путным»? — почти одновременно спросил и капитан.

— Ну, уж, разумеется, не сдачу в плен, — уклончиво ответил Ливенцев.

Между тем в это время санитарный поезд, после свистков, дерганья и лягга, отодвинули куда-то дальше, в тупик, а на его место мягко подкатил, попыхивая локомотивом, щегольской, совсем небольшой поезд, всего в три вагона.

— Это что же такое за поезд? — спросил теперь уже Ливенцев капитана, а тот вместо ответа кивнул в сторону парадных дверей вокзала, откуда поспешно выходили один за другим два генерала, оказавшиеся тут и направлявшиеся к поезду. Заметны также стали теперь и жандармы, а толпа как-то вдрут поредела.

Инженерный поручик вместе со штабс-ротмистром кавказцем подошли откуда-то к группе Ливенцева, и первый из них сказал:

— Главкомандующий Юго-Западного фронта Брусилов катит экстренным поездом.

А второй добавил:

— По всей вероятности, едет в Ставку, представляться царю.

— Неужели не выйдет промяться? — спросил Ливенцев. — Посмотреть хотя бы издали на вершителя наших ближайших судеб.

— Вы разве его никогда не видели? — удивился артиллерист.

— Не приходилось.

— Генерал, как генерал... Точнее, как старый генерал, — ведь он уже далеко не молод.

— Фигура не строевая, — с сильным ударением на «не» сказал кавказец. — Я его тоже несколько раз видел. А на лошади держится хорошо.

— Еще бы плохо! — Кавалерист, — бывший берейтор, — несколько презрительно заметил поручик. — А роль ка-

валерии в этой войне оказалась скромной.

Кавказец не возражал против этого тем более, что его внимание, как и всех прочих, привлекли генералы, тяжело взбиравшиеся в элегантный синий салон-вагон.

Шторы окошек этого вагона были полуприкрыты. Около вагона стали два жандармских офицера. Наконец, жандармский поручик в белых перчатках подошел к ним, пятерым, устремившим любопытные взоры на таинственный вагон Брусилова, и очень вежливо, однако твердо, попросил их не стоять на месте, а прогуляться в ту или иную сторону, куда им нужнее. Кстати, он спросил, каким поездом и куда они едут. И когда ему за всех ответил капитан, он даже встревожился:

— Так что же вы, господа! Вам тогда надо идти, садиться в свой поезд: он двинется, как только этот поезд пройдет.

— А этот поезд куда идет, — в Ставку? — спросил Ливенцев.

— Быть может, — неопределенно ответил жандарм, делая при этом рукой жест в ту сторону, где стоял на путях их поезд.

— А Ставка теперь где? В Могилеве? — двинувшись первым, спросил было Ливенцев, но жандарм отозвался на это уже совсем неприязненно и сухо:

— Не могу знать.

Ставка была в Могилеве, и это было известно всем на фронте, всем в тылу, всем в Германии, всем в Австро-Венгрии и тем менее вслух об этом говорить не полагалось.

Когда Ливенцев подходил уже к своему вагону, он посмотрел все-таки в сторону таинственного, так тщательно охраняемого небольшого состава и увидел то, чего не удалось ему увидеть с перрона: генерал Брусилов действительно, как и предполагал он, вышел пройтись.

Ливенцев узнал его по тем портретам, какие помещались в газетах и еженедельниках. Какой-то длинный, лодочкой вытянутый вперед козырек фуражки, а под ним овальное лицо с неболь-

шими седоватыми, однако не совсем еще белыми усами.

Ничего показного, того, что называется бравым и так дорого сердцам всех любителей парадов, не было ни в лице, насколько его можно было разглядеть издали, ни в фигуре главнокомандующего Юго-Западного фронта. Средний рост, несильные, обвисшие стариковские плечи, заметная сутуловатость, — вот и все, что метнулось в глаза Ливенцева, пока генералы, вышедшие вместе с Брусиловым из вагона и явившиеся к нему с рапортами отсюда, со станции, не заслонили его.

Видно было, что он говорил что-то, но, должно быть, очень тихо, так как все около него тянулись к нему, чтобы расслышать.

Беседа на свежем воздухе продолжалась, впрочем, недолго. Брусилов, очевидно, спешил, а путь для следования его поезда был свободен. Ливенцев с любопытством наблюдал, как он будет подниматься по ступенькам вагонной лестницы, — не будут ли ему помогать при этом, — но поднялся он бодро, не коснувшись ничего руками, — и эта маленькая подробность расположила Ливенцева в пользу Брусилова больше, чем если бы он прочитал о нем большую хвалебную статью.

— Когда я только-что в начале войны, — сказал он, сидя уже в своем купе, — приехал в ополченскую дружину, куда был назначен, мне предлагали там адъютантство, но я отказался, — предпочел строевую службу. Однако если бы теперь мне предложили стать не то чтобы адъютантом, конечно, а ординарцем или вообще каким-нибудь винтиком в штабе главнокомандующего Юго-Западного фронта, я бы согласился.

— Ишь ты какой!.. Всякий бы согласился, поскольку в штабе сидеть гораздо спокойнее, чем в окопах, — иронически заметил на это подполковник-интендант, но Ливенцев покачал головой, усмехнувшись, и добавил:

— Я вас понял, а вы меня нет. Не в том смысле мне хотелось бы быть при штабе, чтобы увильнуть от пули и прочего, а исключительно затем, чтобы знать, что задумано главнокомандую-

шим, и чтобы иметь возможность наблюдать, что из задуманного выйдет. Дело в том, что я — математик, и в этом отношении неисправим, а ведь математики только и делают, что решают задачи, — то-есть, на основании известных данных отыскивают неизвестные.

— Что же, — напишите Брусилову докладную записку и проситесь к нему в штаб, — сказал кавказец, но подполковник ядовито заметил:

— Разве можно в штаб попасть прапорщику да еще и без протекции?

— Да я никаких шагов в этом направлении и делать не буду, конечно, — сказал Ливенцев. — Это у меня вырвалось просто.

Плавнo покачиваясь, прошел мимо их поезда штабной поезд, и Ливенцев, высунув голову в окошко, долго глядел ему вслед.

— Что? Насмотрелись? — улыбаясь, спросил его Обидин, когда он, наконец, уселся на свое место.

— Насмотрелся, — в тон ему ответил Ливенцев. — А теперь посмотрим, что из этого путешествия Брусилова в Мексику может выйти.

Человек в красной фуражке, торчавший на перроне, дал знак. Засвистал старый, с оплывшим багровым лицом, обер-кондуктор. Машинист дернул поезд так, что слетела на пол стоявшая на столике бутылка с недопитой фруктовой водой. Второй толчок был еще сильнее, — чуть не слетели чемоданы с полок. Наконец, после третьего рывка поезд тронулся. Подбирая осколки разбитой бутылки, чтобы выкинуть их за окно, поручик-инженер подкинул Ливенцеву и сказал многозначительно:

— Начало мы уже видим!

Глава вторая

ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ

1.

Экстренный поезд, в котором ехал Брусилов, направлялся не в Ставку верховного главнокомандующего, то-есть царя, а в Бердичев, где была Ставка главноюжа генерал-адъютанта Иванова. Положение создалось такое, что Бру-

силов, хотя и назначен был на место Иванова, но тот не сдавал ему фронта около двух недель.

Крестный отец маленького наследника, великого князя Алексея, имел слишком сильную руку при дворе в лице императрицы Александры Федоровны и старого наперсника царя — министра императорского двора, графа Фредерикса. Шли интриги. Иванова обнадеживали, что приказ царя о его смещении еще не окончательный, что он вырван у слабогольного главковерха настояниями союзников, но совершенно нежелателен «святому старцу» — Распутину. Привыкший менять по своему капризу министров, создавший «министерскую чехарду» в России, «старец» полагал, что то же самое можно делать и с главнокомандующими, тем более с такими, которые проявляли строптивый воинственный дух, когда он плел уже закулисную паутину сепаратного мира с Германией и ее союзниками. Иванов был вполне хорош для этих целей, — он считал войну безнадежно проигранной, — Брусилов же мог повести себя совершенно нежелательно: при дворе известно было, что 8-я армия, которой командовал перед новым назначением Брусилов, считалась на фронте наиболее боеспособной.

О Куропаткине, главнокомандующем Северо-Западного фронта, не могло быть двух мнений: он полностью проявил себя в Манчжурии, поэтому ни императрицу, ни Распутину не беспокоил и теперь. Генерал Эверт, главнокомандующий Западного фронта, был тоже испытан, как в Манчжурии, так и теперь. Наступление, которое он провел на своем фронте в первой половине марта, обошлось в 90 тысяч человек и не дало никаких результатов. Много погибло от весенней распутицы, так как фронт обратился в сплошное болото, разливавшееся днем и замерзавшее ночью. По обыкновению, нехватало ни снарядов, ни сколько-нибудь способных генералов, чтобы наступать на сильно укрепленные позиции немцев.

В то же время никаких попыток к наступлению не делали ни немцы, ни австрийцы: первые увязли под Верде-

ном, где перемалывали французские дивизии, но несли и сами огромные потери, которые — на итальянском фронте, в Тироле, где дела их были весьма успешны. Момент для заключения сепаратного мира казался там, во дворце в Петербурге, наиболее благоприятным, но Румыния вела себя выжидательно: покупала в России тысячи лошадей для своей кавалерии, продавала Германии миллионы тонн кукурузы для ее скота, о чем немецкие газеты писали, как о крупнейшей победе.

Нужен был шумный разворот сил, нужно было наступление, и об этом-то наступлении, необходимом и для Франции, и для Италии, и для Румынии, усиленно думал начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Алексеев, человек большой трудоспособности и совсем не царедворец.

Им был уже подготовлен обширный доклад, который нужно было начать совещание главнокомандующих в Ставке под председательством царя, и подходил уже день, назначенный для этого совещания, — 1-е апреля, — а между тем Брусилов еще не принял фронта.

Столкнулись две русских власти того времени, — царя и Распутина. Царь через Алексеева требовал, чтобы Брусилов как можно скорее приехал в Бердичев принять должность генерала Иванова, а министр императорского двора Фредерикс сообщил Иванову, что пока нечего спешить сдавать должность и уезжать из Бердичева, почему Иванов и отклонял всячески приезд Брусилова.

Только категорическая телеграмма Алексеева, что царь 25 марта будет в Каменце-Подольске, где его должен встретить новый главнокомандующий Юго-Западного фронта, заставила Брусилова поверить, наконец, что его назначение остается в силе, и выехать в Бердичев, тем более, что от Иванова тоже была получена телеграмма, что он его ждет.

Генерал Иванов был главнокомандующим Юго-Западного фронта с начала войны, и Брусилов, командуя одной из четырех армий этого фронта, являлся его подчиненным. Теперь обстоятельства очень резко изменились: быв-

ший подчиненный как бы stalkивал с места начальника.

Неудобство своего нового положения Брусилов чувствовал очень остро. Он знал, насколько был самоуверен, глубоко убежден в своих достоинствах, в своей незаменимости Иванов, и представлял поэтому с возможной яркостью, как тяжело он переживает свое назначение в государственный совет, то-есть, на покой.

Однако оказалось, что он не в состоянии был даже приблизительно представить, как состарилась этого бравого еще на вид старика отставка, хотя и сдобренная «всемилодивейшим рескриптом с собственноручной надписью Николая».

Иванов жил не в городе, а в поезде, в своем вагоне. Вечером, в день приезда Брусилова, он принял своего заместителя один на один, в купе, освещенном только настольной лампочкой под желтым шелковым абажуром.

Первое, что бросилось в глаза Брусилову в этом осанистом борсдатом старике с престопадом лицом, были слезы. От желтизны абажура они блестели, как жидкое золото. Первое, что он услышал от него, были два сдавленных слова: «За что?»

Так мог бы сказать в семейной сцене кто-либо из супругов и скорее жена, чем муж; так мог бы сказать друг своему старому другу, уличив его в гнусном предательстве, угрожающем смертью; так мог бы сказать, наконец, отец своему любимому сыну, на которого он затратил все свои средства и силы и который сознательно подло его опозорил.

Но между двумя главнокомандующими — старым и новым — никогда не было никаких отношений, кроме чисто служебных, и они очень редко виделись за время войны, и только за год до войны познакомились друг с другом.

— Что «за что?» — озадаченно спросил Брусилов, сам понимая всю нелепость этого своего вопроса, но в то же время не подыскав другого.

Он пытался понять это «за что?» как «за что вы под меня подкопались и меня свалили?» Но тут же отказался от

подобной догадки: Иванову было, конечно, известно, что его подчиненный никогда не был в Ставке и ни доносами, ни искательством не занимался. Да и сам Иванов, который был и выше ростом и плотнее Брусилова, положил обе руки на его плечи и приблизил свою мокрую бороду к его лицу как бы затем, чтобы у него найти сочувствие, если не защиту.

Впрочем, он тут же сел, обессиленный, и... зарыдал, — зарыдал самозабвенно, весь содрогаясь при этом, как будто его заместитель только затем и спешил сюда с фронта, чтобы увидеть его рыдающим, как может рыдать только ребенок, как полагается рыдать над телом близкого человека.

Брусилов с минуту стоял, изумленный, потом тоже сел, но не рядом с рыдальцем, а напротив, пряча глаза в тень от режущего их сквозь желтый абажур света.

— И вот... и вот итог... всей моей службы... на слом! — бормотал, затаив, Иванов.

— Почему «на слом», Николай Иудович? — принялся утешать его Брусилов. — Мне сказали, что вас назначили не в государственный совет, а состоять при особе государя.

— Состоять... в качестве кого?... Бездельника?... Как Воейков? — опустив лобатую голову на руку, лежавшую на столе, хрипавато спрашивал Иванов.

Брусилов знал, что дворцовый комедант генерал Воейков, обыкновенно сопровождавший царя во всех его поездках, действительно, бездельник, и если когда-то раньше он мог развлекать Николая анекдотами, то теперь в этом смысле окончательно выдохся и занят только рекламой какой-то, якобы целебной, минеральной воды, найденной в его имении «Кувака», почему один остроумный депутат государственной думы назвал его «генералом от кувакери». Но в то же время Брусилову был совершенно непонятен такой припадок слабости в недавнем еще руководителе нескольких сот тысяч человек на фронте, а кроме того, генерал-губернаторе двух военных округов — Киевского и Одесского, в которые входило ни ма-

ло, ни много как двенадцать губерний; поэтому он сказал:

— Повидимому, причиной перемены вашего служебного положения, Николай Иудович, послужили ваши жалобы на усталость.

— Жалобы на усталость? Только это? — возразил, подняв голову, Иванов. — А вы разве не устали почти за два года войны?... Кому из нас не хотелось бы отдохнуть, а, скажите?... Однако отдых, это... это только временный отпуск... а совсем не отставка!

Он достал платок, как-то очень крепко надавил им, скомканным, на один глаз и на другой, провел по щекам, полузаросшим бородою, по бороде и ждал, что скажет Брусилов, ждал с видимым интересом и даже нетерпеливо.

— Если не эти ваши жалобы причина, то я теряюсь в догадках, — сказал, наконец, вполне искренне Брусилов, но Иванов подхватил живо и даже зло:

— Теряетесь? В догадках?... А разгадка очень простая!.. Разгадка эта — ваше поведение, Алексей Алексеевич!

— Мое поведение? — удивился и даже слегка приподнялся на месте от удивления Брусилов. — В каком же смысле я должен это понять?... Я против вас никому не говорил ни слова.

— Нет, именно против меня... говорили! — тихо, но упрямо сказал Иванов.

— Когда же, кому и что именно? — еще больше удивился Брусилов.

— Разве вы не говорили, что можете наступать?

— Ах, вот что-о! — протянул облегченно Брусилов и сел на диван плотно. — Да, это я говорил, потому что так именно думал. И сейчас я то же самое думаю.

— Может быть... Все возможно... Может быть, вы были уверены в своей восьмой армии. А в седьмой? А в девятой? А в одиннадцатой?... Ведь у меня перед глазами был весь фронт, а не одна ваша армия! Весь фронт... как теперь вот он будет перед вами. Генерал Лечицкий болен крупозным воспалением легких, — едва ли выживет, —

с кем же будет вести наступление его девятая армия?

— Я по приезде сюда узнал уже, что болен Лечицкий, — ответил Брусилов. — Очень огорчен этим, конечно, но думаю, что временно его мог бы заменить генерал Крымов.

— Крымов?... Он ведь моложе по производству другого корпусного командира в той же девятой армии! — возразил с живейшим интересом к этому вопросу Иванов, так что Брусилов даже слегка улыбнулся, когда сказал на это:

— Совершенно неважно, кто из них старше, кто моложе!

Улыбка была слабая, еле заметная, но Иванов был ею уколот в больное место, и в тоне его появилась горячность, когда он заговорил, теперь уже более плавно:

— Нет, как хотите, а наступать мы все-таки не можем! Живое доказательство этому — наступление Западного фронта, которое провалилось. А кто же, как не я, предсказывал этот провал? Я говорил об этом Алексею, я предостерегал от этого шага его величество! Однако меня не послушали, и вот — поплатились за это жестоко!... Так что же вы, Алексей Алексеевич, хотите повторить неудачу генерала Эверта?

— Напротив, Николай Иудович, совершенно напротив. Я уверен в полной удаче! — всячески стараясь сдерживаться, не слишком тревожить так тяжело раненного отставкой и в то же время не противоречить и себе самому, ответил Брусилов, но этой уверенностью только разбередил рану.

Трудно было и представить, конечно, чтобы так в корне не согласны между собой были два главнокомандующих — старый и новый, — казалось бы, одинаково хорошо знавшие свой фронт. Но Иванов говорил, признавая только за собой знание всего фронта:

— Вы уверены в удаче, но какие же основания для этого имеете, — вот вопрос!.. Вы получаете девятую армию, и что же? Лечицкий безнадежно болен, а Крымов... ошибаетесь вы в Крымове, ошибаетесь, я вас предупреждаю!.. Нет у нас генералов!.. Вы получаете седь-

мую армию во главе с генералом Щербачевым, а что такое оказался этот Щербачев? Были у меня на него надежды, когда он прибыл ко мне на фронт... Вот, думал я, не кто-нибудь, а сам начальник генерального штаба, и не из старых теоретиков, а из молодых, из протестантов против рутины, — заставил ведь опыт японской кампании изучать, а не поход Аннибала на Рим... Мне, участнику японской кампании, это говорило, конечно, много... Молодой еще сравнительно с другими, не ожиревший, а скорее даже к чахотке склонный, — и государь к нему был так расположен, и все прочее, — а что же вышло на деле, а? Что вышло из его наступления, я вас спрашиваю?

— Вышел конфуз, разумеется, но я думаю, что он зато приобрел опыт, — спокойно сказал Брусилов, тщательно взвешивая слова. — Как теоретик, он, конечно, сильнее очень многих, но вот опыта в современном ведении боя ему нехватало. Этот пробел его теперь, я полагаю, заполнен.

Говоря это, Брусилов представлял и высокого, действительно плохо упитанного Щербачева, присланного из Петербурга командовать сразу целой армией «особого назначения», названной потом седьмой, и неудачное наступление на Буковину, которое он вел в декабре и которое обошлось почти в 50 тысяч человек, но не дало никаких результатов.

— Вы полагаете, — иронически произнес Иванов. — А вот я слышал, что генерал Клембовский, ваш же теперь начальник штаба, отказался принять бывшую вашу восьмую армию. Почему это, а?

— Он говорит, что не имеет военного счастья.

— Вот видите, видите, чего не имеет? — Военного счастья!.. А почему вы уверены, что Щербачев или, скажем, Сахаров, командующий вашей одиннадцатой армией, это военное счастье имеют, хотел бы я знать?

— Да ведь в конце-то концов имеют или не имеют они военное счастье, они будут исполнять мои приказания, Николай Иудович, я и буду нести главную

ответственность за неудачу, в случае она нас постигнет... Наконец, роль армий Юго-Западного фронта будет, насколько меня известил Алексеев, только подсобная, а главные роли будут в руках Эверта и Куропаткина, — сказал Брусилов уверенным тоном, но Иванов очень живо возразил:

— О, нет, нет!.. Я весьма сомневаюсь, весьма сомневаюсь!.. Эверт и Куропаткин, — они не так... самонадеянны, чтобы брать на себя главные роли!

— Если им прикажет государь, то возьмут, конечно, — примирительно, не повышая голоса, отозвался Брусилов.

Он считал жестоким спорить с разбитым нравственно стариком, который, худо ли, хорошо ли, все-таки двадцать месяцев без отдыха работал на фронте. Другой подобный старый генерал от кавалерии фон Плеве, командовавший Северо-Западным фронтом, не выдержал и нескольких месяцев, заболел нервным расстройством, и были слухи, что он теперь лежит при смерти в одной из лечебниц Петрограда.

Дальше разговор велся уже более вяло: заметив, что Брусилов отвечает ему неохотно, Иванов стал делать большие паузы и вздыхать, а когда один из его адъютантов явился доложить, что в салон-вагоне рядом приготовлен ужин, поднялся с места с неменьшим облегчением, чем и Брусилов.

Свита Иванова почтительно выстроилась перед новым главнокомандующим для представления ему. Каждый в ней, от генерала до обер-офицера, был озабочен мыслью, оставит ли его Брусилов или отчислит от штаба. Чтобы никого не огорчить, Брусилов счел нужным тут же заявить, что он не намерен никого из них заменять какими бы то ни было «своими» людьми, которые были бы новыми на новом для них месте, поэтому мало пригодными для дела.

Ему не хотелось, чтобы первое знакомство со своим штабом прошло натянуто, он хотел видеть живых, непринужденно беседующих с ним помощников, но Иванов как бы оледенил всех полной молчаливостью и крайне насупленным видом.

Брусилов с трудом досидел до конца и ушел в свой поезд, поставленный рядом с поездом Иванова.

2.

Обыкновенно Брусилов, втянувшийся уже за двадцать месяцев войны в боевую обстановку, и засыпал и вставал в одни и те же часы. Иначе было нельзя: сложная обстановка войны требовала от командующего армией большой мозговой работы, которую можно было вести только с ясной головой. Бывали дни, когда приходилось прочитывать тысячи телеграмм, и телеграммы эти присылались для того, чтобы дать по ним то или иное заключение. Строгий режим в распорядке суток диктовался необходимостью: ни одна минута не могла, не имела права пропасть праздной; поэтому вошло в привычку засыпать тут же, как можно было для этого лечь.

Однако здесь, на путях станции Бердичев, Брусилов долго не мог заснуть: рыдающий, как ребенок, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, член государственного совета, «состоящий при особе его императорского величества», Николай Иудович Иванов неотступно стоял перед глазами.

Как можно сурово судить человека, способного так рыдать? — Этот вопрос решал и не мог решить Брусилов. Не обладает военными талантами, необходимыми для такой во всех отношениях новой войны, однако, несомненно, честен, если даже и заблуждается в главном, — что русские не в состоянии наступать... Не изменник, как бывший военный министр Сухомлинов, не беспечен в отношении судеб своей родины и оскорблен до глубины души только тем, что оставлен, чем иной генерал в его положении был бы только обрадован, пожалуй: сам царь дает возможность умыть руки в виду поражения России, которое, по мнению многих, было неизбежно.

И поднимался другой вопрос: «А что же я, занявший место отставленного? Не слишком ли самонадеян, что было бы непростительно в таком почтенном возрасте, как шестьдесят два года с лишним, не слишком ли мало сведущ в общем положении как фронта, так и ты-

ла?» Ведь только теперь он должен был как следует познакомиться не только с генералами Щербачевым, Сахаровым, Лечицким, если тот не умрет, но и с командирами корпусов их армий, и с состоянием их позиций, и со снабжением, как оно у них налажено, и с состоянием всех двенадцати губерний, входящих в Киевский и Одесский военные округа.

Перед войною он был знаком больше с Варшавским округом, во главе которого стоял генерал Скалон, — немец, убежденный в том, что Германия должна была командовать Россией. Будучи назначен помощником Скалона, Брусилов оказался окруженным немцами — высшими чиновниками Варшавского генерал-губернаторства. Конечно, это были все русские немцы, из прибалтийских, но тем не менее, часто переходя в разговорах между собою на немецкую речь, они создавали впечатление, будто весь этот, выдавшийся на запад округ уже завоеван немцами мирным дипломатическим путем. Впрочем, все эти Тизенгаузены, фон-Минцловы, Грессеры, Утгофы, Тиздели, Эгельстромы и прочие уверяли, что они — подлинные русские патриоты.

С легким сердцем он уехал от этих «патриотов» в Подольскую губернию, в город Винницу, когда был назначен командиром корпуса. Это было ровно за год до войны. Тогда, на маневрах, он впервые познакомился с генералом Ивановым, занимавшим в Киеве такое же положение, какое было у Скалона в Варшаве.

Даже и трех лет не прошло с того времени, — и какая разительная перемена! Кто бы мог думать тогда, что так будет рыдать теперь этот важного вида бородатый старик, руководивший маневрами в то лето?

Он же руководил и действиями 8-й армии, действиями его, Брусилова, путем телеграмм из довольно глубокого тыла, откуда было мало что видно! На фронте его не видели даже и во время длительного затишья. Распоряжения его всегда являлись или совершенно неосуществимыми, или запоздалыми, или нуждались в таких существенных поправках, которые сводили их на-нет. Чаще всего при-

ходило командующим армиями обращаться к нему за разрешением занять такую-то позицию, туда-то передвинуть войска, и он разрешал. Но больше всего, конечно, сыпалось к нему просьб о подкреплении, и Брусилов теперь с горечью вспоминал, что именно его просьбы такого рода чаще всего оставались Ивановым без исполнения. «Ничего, — говорил он, — Брусилов как-нибудь вывернется!» Это «как-нибудь» означало, конечно, что понесет большие потери, так как 8-я армия была приучена защищать свои позиции путем наступления на позиции австро-венгров и немцев.

Так было в начале войны, когда она брала Миколаев, Галич, штурмовала Перемышль, так было потом, когда боевые действия велись в Карпатах, в особо трудных условиях. Так было и совсем недавно, зимою, когда коротким ударом по хорошо защищенным позициям немцев части его армии взяли город Черторыйск, разбили на-голову 14-ю германскую дивизию, захватили много пленных и между ними почти целый «полк кронпринца».

Это последнее дело 8-й армии, когда немцы, хотя и не так далеко и в одном только месте, были отброшены на запад, происходило тогда, когда Иванов был занят постройкой нескольких мостов через Днепр и нескольких укрепленных линий в сотни верст длиною, причем первая из них проходила в окрестностях Киева, а прочие были предназначены защищать более отдаленные подступы к нему.

На это тратились Ивановым громадные средства, и он был уверен, что обладает даром предвидения, что все затраты эти необходимы ввиду того, что весною, как немцы об этом и пишут в своих газетах, начнется «колоссальное» наступление их армий на востоке.

Раньше, когда Брусилов слышал об этом, он временами думал, что Иванову издали может быть виднее и общая обстановка на фронте, и общая картина разрухи в тылу, а его личная самоуверенность происходит исключительно от незнания.

Теперь он видел, что на постройку мостов через Днепр и укреплений около

Киева толкали бывшего главнокомандующего фронтом чересчур расстроенные нервы, и рыдал он два-три часа назад только потому, что ему не удалось довести до конца того, что он задумал. Так мог бы рыдать и маленький мальчуган, которого нянька взяла подмышки и оттащила от его сооружений из сырого песка.

Однако не мог ведь сказать и он, Брусилов, что армии, стоящие на Юго-Западном фронте, даже теперь, после долгого зимнего отдыха, таковы, как всем бы в России хотелось. Совсем напротив, — эти армии по сравнению с теми, какие начинали войну, были очень слабы в смысле их людского состава.

Почти совершенно не оставалось уже в них ни кадровых младших офицеров, ни унтер-офицеров, ни солдат. Прибывавшие на фронт пополнения приходилось учить всему, начиная со стрельбы из винтовок. Для снабжения частей унтер-офицерами пришлось ввести во всех полках учебные команды. Наконец, очень энергично пришлось бороться и с пораженчеством, так как случалось, что во время сражения кто-нибудь из солдат начинал вдруг кричать: «Что же это, братцы, — на убой, что ли, нас сюда пригнали? Давай сдаваться!» — и целые роты, а иногда и батальоны, нанизывали белые платки на свои штыки и шли в плен.

Он вспомнил свой же приказ по 8-й армии в июне 15-го года, когда русские войска откатывались на восток под нажимом войск Макензена, прорвавшего жиденький фронт 3-й армии на Карпатах:

«Пора остановиться и посчитаться, наконец, с врагом как следует, совершенно забыв жалкие слова о могуществе неприятельской артиллерии, превосходстве сил, неутомимости, непобедимости и т. п., а потому приказываю: для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пушечный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при

нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом.»... «Глубоко убежден, — писал он дальше в том же приказе, — что восьмая армия, в течение первых восьми месяцев войны прославившаяся несокрушимой стойкостью, не допустит померкнуть заслуженной ею столь тяжкими трудами и пролитой кровью боевой славы и приложит все усилия, чтобы побороть врага, который более нашего утомлен и ряды которого очень ослабли. Слабодушным же нет места между нами, и они должны быть истреблены!»

Кое-кто тогда считал этот приказ жестоким, но эта жестокость вызывалась жестокостью действий врага, и только. Восьмая армия первой на всем Юго-Западном фронте остановилась тогда и остановила натиск немцев, что дало возможность оправиться и другим армиям.

Сравнение себя самого с рыдающим — потому что «оставлен при особе государя» — Ивановым заставило Брусилова вспомнить и то, как он, первый во всей вообще армии, доброжелательно отнесся к действиям у себя организаций городского и земского союза.

Он отлично знал, что эти организации едва терпят царя, делая только необходимую уступку общественности, выступившей на помощь фронту; он знал и то, как стремятся дуть в дудку царя другие командующие армиями и всячески пытаются выказывать им свое нерасположение. Он же лично исходил из того, что войну ведет не только армия, а вся Россия в целом.

Так ли думал царь, которого он должен был встречать через два дня в Каменце-Подольске, и вообще, что он думал, — этот вопрос тоже долго не давал заснуть Брусилову, и забылся он только под утро.

3.

На другой день он знакомился с делами штаба, а также и со всеми своими новыми сотрудниками, — генералами и полковниками — академистами, между тем как сам он не был в академии.

Он давно уже замечал, что академисты держались в армии как избранная

высшая каста; он знал, что и в Петрограде все успехи предводимой им 8-й армии вслэшески снижались и брались под подозрение только потому, что сам он не изучал так тщательно, как академисты, походов Карла V или Фридриха II. Эта подозрительность к нему отражалась и на тех, кого он представлял к наградам: они или получали их с большим опозданием, или не получали совсем. Они же настраивали и царя не в пользу Брусилова, который давно бы уже мог получить главнокомандующего фронтом, если не Юго-Западным, то другим. Иванов относился совершенно безучастно к сдаче дел фронта, — это делали его начальник штаба генерал Клембовский, генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихс и начальник снабжения генерал Маврин. Иванов же только просил у него разрешения остаться при штабе фронта, еще на несколько дней и снова при этом пролил слезу. Вид у него был поистине жалкий.

Прежде чем представить царю 9-ю армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому, и Брусиллов, приняв дела, отправился в Каменец.

Винница, в которой пришлось жить Брусиллову три года назад, — небольшой, но чистенький городок, очень нравилась ему смесью культурности с простотою: там были шестизэтажные дома с лифтами и рядом — одноэтажные домики, окруженные садами, — в общем же это был город-сад с тихо протекавшей жизнью. Совсем не то оказался Каменец-Подольск, красиво расположенный на берегах речки Смотрич, старинный город, бывший некогда под властью и турок, и поляков.

Турки оставили тут память в виде старой крепости, называемой турецким замком и бывшей до войны тюрьмой. Часть города вблизи этого замка так и называлась Подзамчье. Поляков жило здесь и теперь много в самом городе и в пригороде, носившем название Польские фольварки. В городе было несколько польских костелов, между ними и кафедральный. По крутым берегам Смотрича там и тут поднимались каменные лестницы, все дома в городе

были каменные, все улицы были вымощены булыжным камнем, — город вполне оправдывал свое название.

У генерала Лечицкого болезнь приближалась к кризису. Брусиллов тут же по приезде заехал к нему на квартиру. Дежуривший при нем врач высказал уверенность в том, что больной поправится, и это обрадовало Брусилова, так как он знал Лечицкого еще до войны с самой лучшей стороны, — таким же оставался он и во время войны.

Порядок, заведенный им в штабе, конечно, был одобрен Брусилловым. Тут все готовились к царскому смутру, о чем предупредил штаб армии Алексеев; поэтому Брусиллову оставалось только навестить ближайший к Каменцу участок фронта, что он и сделал.

Придирчиво осматривал он окопы одной из дивизий армии Лечицкого, желая найти основания полной безнадежности Иванова, но, к радости своей, увидел, что и окопы эти, и люди в них ничем не хуже людей и окопов его бывшей армии. Это укрепило его в мысли, что Юго-Западный фронт вполне может и будет хорошо защищаться, как бы старательно ни было подготовлено весеннее наступление немцев.

Об этом ему пришлось говорить с царем, когда тот прибыл в Каменец вечером, уже затемно, и, только приняв его рапорт, обошел выставленный на станции почетный караул и пригласил нового главнокомандующего к себе в вагон.

Бывали короли и императоры, которые если даже и не имели природных внешних данных для представительства, не были «в каждом зершке» владыками государств, так хотя бы старались путем долгой тренировки привить себе кое-что показное, производящее благоприятное впечатление на массы, более или менее удачно играли роль королей, императоров.

Владыка крупнейшей империи в мире — Николай II изумлял Брусилова и раньше, но особенно изумил теперь тем, что «не имел вида».

Толстый и короткий нос — картошка, длинные рыжие брови над невыразительными свинцовыми глазками; еще

более длинные и еще более рыжие толстые усы, которые он совсем по-унтерски утюжил пальцами левой руки; какая-то неопрятного вида, клочковатая, рано начавшая сесть рыжая борода, — все это, при его низком росте и каких-то опустившихся манерах, производило глостное впечатление.

При первом же на него взгляде он чем-то неуловимым напомнил ему Иванова; и первое, что он услышал от него, когда вошел вслед за ним в вагон, было как-раз об Иванове.

— Какие такие недоразумения произошли у вас с генералом Ивановым? — спросил Николай.

— Насколько я знаю и помню, не было никаких недоразумений, ваше величество, — удивившись, ответил Брусилов.

— Как же так не было?.. Мне дожили, что у вас было с ним какое-то столкновение, вследствие чего и произошло разногласие в распоряжениях, какие вы получили от генерала Алексея и от графа Фредерикса... э-а... касательно смены генерала Иванова.

— Ваше величество! — с виду спокойно, но глубоко пряча раздражение от этих слов, начал Брусилов. — Я получил распоряжение только от начальника штаба Ставки, но не от графа Фредерикса! Никаких вообще распоряжений от графа Фредерикса я не получил и, осмеливаюсь думать, что и получать не буду, поскольку дела чисто военные, дела фронта, так мне кажется, имеют прямое касательство только к Ставке, а не к графу Фредериксу.

Договорив это, Брусилов почувствовал, что выразился как будто несколько не по-придворному, но он никогда и не был придворным, а вопрос царя не то чтобы объяснил ему поведение Иванова, затянувшего сдачу фронта, но по крайней мере навел на это объяснение. Для него несомненным стало и то, что Иванов не хотел уезжать из Бердичева, все еще надеясь остаться. Словом, справдывались доходившие до него сторуною слухи, что его назначение нельзя еще считать окончательным.

Он видел, что его фраза о Фредериксе не понравилась царю, хотя тот и по-

старался скрыть это, и ждал, наконец, разъяснения, точно ли бесповоротно назначен он главнокомандующим, или придется ему все сдавать Иванову и возвращаться в штабквартиру своей 8-й армии.

Царь довольно долго был занят своими усами, внимательно приглядываясь к нему, и спросил вдруг совсем для него неожиданно:

— Что вы имеете мне доложить?

Брусилов не сразу понял, что имел в виду царь, задавая такой вопрос. О чем именно должен он был докладывать? О «недоразумении» с Ивановым было уже доложено всё; что же еще могло интересовать царя?

Он медлил с ответом едва ли не больше, чем царь со своим весьма неопределенным вопросом, и решил, наконец, связать то, что занимало так царя, с тем, что наполняло его лично, особенно после объезда позиций 9-й армии.

— Имею очень серьезный доклад, ваше величество, — начал он, — в связи с общим положением дел на Юго-Западном фронте вообще, насколько я успел познакомиться с ним за последние дни.

— Хорошо, говорите, — безразличным тоном отозвался царь, вынув серебряный портсигар, и вертя в художавых пальцах папиросу.

— В штабе генерал-адъютанта Иванова при приеме мною дел мне подтвердили то, что я слышал и раньше, — стараясь выбирать выражения, начал Брусилов, — а именно, что мой предшественник, при всех положительных качествах своих, отличался недоверием к войскам Юго-Западного фронта, к их боевым возможностям, к их подготовке, а общий вывод его был таков: армии фронта наступательных действий вести не в состоянии, они могут только защищаться и то не очень стойко. Словом, на них положиться нельзя. С этим взглядом я в корне не согласен, ваше величество, о чем и считаю своим долгом вам доложить.

— Это интересно, — тем же безразличным тоном заметил царь, закурил папиросу и протянул ему свой портсигар.

— Мой предшественник, — продолжал Брусилов, взяв папиросу, но не закуривая ее, — несомненно, имел большой опыт в управлении фронтом, я же имею довольно длительный боевой опыт, — смею надеяться поэтому, что моя оценка боеспособности войск, мне теперь врученных волей вашего величества, окажется ближе к истине. Я до сего дня был вполне уверен в войсках только своей бывшей армии и мог с полным знанием вопроса говорить только о ней, но, приехав сюда, я успел уже несколько познакомиться с армией генерала Лечицкого, который, к сожалению, тяжело болен...

— Как его здоровье? — перебил царь.

— Есть надежда, что он поправится, ваше величество и, может быть, даже примет участие в наступательных (Брусилов особенно подчеркнул это слово) действиях нашего фронта. По совести могу сказать, что та дивизия его, — 74-я, какую я сегодня видел на фронте, — не хуже любой из моих бывших дивизий. По этой дивизии можно, мне так кажется, судить и об остальных в 9-й армии. Я не успел познакомиться с 7-й и 11-й армиями, но зато я знаю командующих ими генералов — Щербачева и Сахарова и думаю, что положение дел у них не хуже, чем у Лечицкого...

Брусилов понимал, что этот импровизированный доклад его в царском вагоне может иметь большое значение для того, чем он жил в последнее время, то-есть, для решительного выхода из пассивного ожидания удара со стороны австро-германцев к активным действиям против их пусть и очень сильно укрепленных за долгую зиму позиций, и старался не пропустить ни одного довода в пользу этой своей мысли.

Он говорил обстоятельно и долго. Думал ли царь о том, что он говорил, или о чем-нибудь еще, совершенно не относящемся к теме его доклада, но царь молча курил, и этого было довольно; он не перебивал, не задавал отвлекающих в сторону вопросов, он был тер-

пелив, а это Брусилов считал хорошим знаком.

И действительно, когда доклад подошел к своему естественному концу, и Брусилов заключил его словами: — Вот, в общих чертах, то, что хотелось мне доложить о состоянии вверенного мне фронта, ваше величество, — царь, поднявшись и тем заставив подняться его, протянул ему руку и сказал по виду благожелательно:

— Хорошо, вот первого апреля на совещании в Ставке вы повторите, что мне говорили сейчас, и другие главнокомандующие тоже выскажутся по этому вопросу.

В этих словах царя Брусилову почудилось, что боеспособность Юго-Западного фронта все-таки берется им под сомнение, что он не совсем переубедил его, напичканного мнениями Иванова, поэтому Брусилов счел нужным добавить:

— Прошу, ваше величество, предоставить мне в будущем наступлении инициативу действий, равную другим главнокомандующим. В противном случае я буду думать, что мое пребывание на посту главнокомандующего бесполезно, даже вредно, почему и буду просить вас заменить меня другим лицом.

Царь при этих словах насупил брови так, что глаз его уже не было видно, и сказал:

— Я думаю, что на совещании вы столкнетесь с другим главнокомандующим и с начальником штаба. Покойной ночи!

Брусилов вышел из вагона царя, хотя и не совсем убежденный в том, пробил ли он каменную стену его равнодушия, однако с чувством удовлетворенности от того, что ему все-таки разрешено было высказать откровенно все, что он думал. Но в следующем за царским вагоном был Фредерикс, который ждал окончания беседы Брусилова с царем, чтобы... заключить нового главнокомандующего Юго-Западного фронта в свои объятия!

Эта костлявая, старая, хитрая придворная лиса, неизвестно чем именно жившая, однако весьма живучая, захотела замести следы своей интриги, че-

рез камер-лакея пригласив Брусилова в свой вагон, едва только он покинул царя.

Длинный и узкий, с пушистыми белыми усами, Фредерикс весь так и светился радостью от того, что видит, — наконец-то! — его, Алексея Алексеевича, главнокомандующим.

— Давно пора, давно пора! — несколько раз повторил он, сияя. — И я всегда, — верьте моему слову! — всегда считал своим долгом докладывать его величеству о ваших заслугах, о том, что вы вполне достойны принять в свои руки фронт... тот или иной, тот или иной... Вот например, Северо-Западный: дважды ведь поднимался мною вопрос о вашем назначении туда, — однако... находились люди... не будем же теперя говорить о них, дорогой мой Алексей Алексеевич: все хорошо, что хорошо окончилось, — вот! Прошу иметь в виду, что и на этот пост, какой вы получили, выдвигалось ведь несколько кандидатур, но я-я-я... я всячески отстаивал вас!

— Благодарю вас, — отозвался на это Брусилов, чтобы сказать что-нибудь, и тут же увидел, что эти два слова ожидалась графом, чтобы перейти к самому для него важному.

— Что же касается телеграммы моей генерал-адъютанту Иванову, о чем вы извещены, конечно, — держа руку Брусилова в своей холодной руке, очень оживленно продолжал граф, — то ведь эта телеграмма касалась совсем не того, послушайте, совсем не его смены, а вашего назначения на его место, — вот что мне особенно хотелось вам сказать!

И он не только пожал руку Брусилова, но не выпустил ее и теперь, ожидая, как и что ему тот ответит; и Брусилов ответил так, как счел нужным:

— Поверьте, граф, мне никто ничего не говорил ни о какой вашей телеграмме Иванову!

— Не о чем, не о чем было и говорить, — подхватил Фредерикс, — совершенно не о чем! И будьте уверены на будущее время, что если вам что-нибудь понадобится передать непосредственно его величеству, — я всегда к вашим услугам!

Это покорило, наконец, Брусилова, и он не удержался, чтобы не сказать в ответ:

— Искательством, граф, я ведь никогда не занимался, — я исполнял свой долг на всех постах раньше, буду исполнять и теперь, насколько буду в силах, но ваши слова принимаю, как доброе обо мне мнение и благодарю сердечно!

Фредерикс обнял его снова и, расцеловавшись, они расстались, по виду очень довольные друг другом.

На следующий день с утра начался смотр войск одновременно и царем, и самим Брусиловым, и если царь обращал внимание только на выправку солдат, на их умение ходить церемониальным маршем, то в глазах Брусилова эти новые для него войска, — сначала 3-я Заамурская пехотная дивизия, потом 9-й армейский корпус, — держали строгий экзамен на право вести наступление через месяц и выдержали его с честью.

Царь вел себя на смотре, как обычно: тупо смотрел на ряды солдат, державших винтовки «на кра-ул», запаздывая поздравоваться с ними; тупо смотрел, как они шагали, выворачивая в его сторону глаза и лица, — и только. Ни с малейшим задушевным словом он не обращался к тем, которые должны были проливать кровь и класть свои головы за него прежде, чем за родину: не было у него за душою подобных слов.

На Каменец-Подольск довольно часто налетали неприятельские самолеты, так как был он недалеко от фронта. В городе мало было целых стекол в домах и часто попадались развалины и кучи мусора на месте бывших построек. Конечно, воздушные разведчики дали знать на ближайший аэродром противника о скоплении большой массы русских войск, выстроенных для смотра, и над 9-м корпусом закружилось до двух десятков аэропланов.

Впрочем, этого уже ждали и готовили для встречи их свои самолеты, а также зенитные батареи, так что перед смотром корпуса произошло небольшое сражение: разрывались высо-

ко в воздухе снаряды, летели вниз дистанционные трубки, осколки, шрапнельные стаканы, — наконец, поднялись свои машины, и налетчики ушли ни с чем, хотя и без потерь в своем строю.

Разумеется, на Брусилова ложилась обязанность предупредить царя об опасности не только смотра, но и вообще пребывания его в Каменце: всегда можно было ожидать налета врагов даже и на царский поезд, который не так трудно было рассмотреть среди кирпично-красных и отдаленно поставленных обычных прифронтовых поездов.

Но царь ни одним словом не отозвался на эту о нем заботу и не уехал из Каменца, пока не закончил того, зачем приехал, — то-есть, смотра всех расположенных тут в окрестности частей войск.

Сам склонный к мистике, Брусилов приписал было такое равнодушие царя к опасности фатализму, но, приглядываясь в тот день к своему верховному вождю пристальнее, решил, наконец, что это только равнодушие к жизни.

Глава третья НОВЫЙ ПОЛК

1.

Поезд с одним классным вагоном, в котором вместе с другими офицерами ехал на фронт прапорщик Ливенцев, не подходил к тому участку фронта, какой ему был нужен: от станции, где он вышел вместе с Обидиным, оставалось до расположения их полка, по словам знающих людей, не менее пятидесяти верст.

Эти пятьдесят верст предоставлялось осилить или на грузовой машине, если бы такая попалась, или на крестьянской подводе, или, наконец, пешком. Командант станции, какой-то зеленолицый, явно больной, подпоручик, говорил это без улыбки, как привычное, повторяемое им ежедневно.

— А шоссе тут как, — очень грязное? — спросил Ливенцев.

— Ну, еще бы вы захотели, чтоб не было грязное в марте! — почти рассерженно ответил подпоручик и добавил еще злее: — Да оно тут идет недалеко, а там, дальше, проселок, —

колеса засасывает! — Повернулся и отошел, а Ливенцев сказал Обидину:

— Для начала недурно, как говорится в каком-то анекдоте. Такая же грязь, конечно, будет и на фронте, и это совсем не анекдот.

Станция, между тем, оказалась, хоть и небольшая, а бойкая, так как здесь осели склады, питающие порядочный участок фронта, здесь шла выгрузка из вагонов и продовольствия, и боевых припасов, а также напружка их на машины и подводы, — интендантские, пехотных полков, артиллерийских парков и другие.

Около станции с ее заднего двора была ожесточенная крикливая толча, в которой с первого взгляда совершенно невозможно было разобратся. Однако разбирались солдаты в заляпанных по уши сапогах и в мокрых и грязных шинелях, только Ливенцев, сколько ни спрашивал здесь, нет ли машины или подвод от его полка, ничего не добился.

Кучка баб, притащивших к поезду откуда-то поблизости молоко в бутылках и сморщенные соленые огурцы в мисках, уже все распродала, когда к ней подошли Ливенцев с Обидиным в поисках попутной подводы.

Подвод у баб не водилось, — они даже как будто обиделись, что их заподозрили в такой роскоши. Одна из них, очень дебелистая, добротная, оказалась почему-то русская среди украинок и говорила вразяжку на орловско-курском, родном Ливенцеву, наречии. Она сосредоточенно жевала соленый, мягкий с виду огурец, отламывая к нему хлеба от паляницы.

— Скоро новые огурцы уж сажать будете, — сказал, глядя на нее, Ливенцев.

— А чего их сажать! — отозвалась баба, грустно жуя.

— Как чего? Чтэб посолить на зиму, — объяснил бабе Ливенцев, но та сказала на это весьма неопределенно:

— Только и звания, что цвет дают, а посмотреть плети, — плоховязы, — и пчел поблизу не держат.

— Капусту посадите, — вспомнил и другую огородину Ливенцев, но баба с

грустным лицом флегматично сказала:

— Капуста, она когда еще голову начнет завивать? До того время спалишь дров берем.

— Вы у ней поняли что-нибудь? — спросил, отходя, Ливенцев у Обидина.

Обидин подумал и ответил:

— Чорт их поймет, этих баб! Они и капусту готовы тащить в парикмахерскую.

Неудача с машинами и подводами его раздражала, — это видел Ливенцев и, чтобы успокоить его, он заметил, улыбаясь:

— Погодите, доберемся когда-нибудь до своего полка, и вот там-то вы уж действительно ничего не поймете!

Они пробыли на этой станции целые сутки, ночевали в совершенно грязном «зале 3-го класса», с неотмытым заслеженным полом, и спали, сидя рядом на своих чемоданах и прикорнув один к другому.

Только на другой день в обед как-то повезло им натолкнуться на расхлябанный грузовичок их полка, прибывший за «битым» мясом. На этом грузовике они и устроились, не без того, конечно, чтобы не дать за это чай шоферу и артельщикам, хотя те и были солдаты.

— Вот видите, — говорил Обидину Ливенцев. — Вам может показаться непонятным и то, что мясо называется битым. По-вашему, пожалуй, этого добавлять не надо: мясо, и всё. Однако каждая воинская часть заинтересована бывает в том, чтобы мясо ей доставлялось «живое», то-есть, просто, убойный скот. На этом могут быть «безгрешные» доходы, а на «битом» мясе что выгадаешь? Ничего, если только не прогадаешь.

Казалось, пятьдесят верст можно было бы проехать засветло, но грузовик был старый, очень раздерганный, дорога тяжеляя, — часто на ней застревали и тратили много усилий, чтобы как-нибудь сдвинуться с места.

Десятки раз проклинал Обидин и грузовик, и дорогу, и мясные туши, которые не были привязаны и все время стремились, как он говорил, бежать в поле пасться, но Ливенцев успокаивал

его или, по крайней мере, пытался успокоить тем, что это — совершенно райский способ передвижения в непосредственной близости к фронту.

Когда сначала не очень разборчиво, а чем дальше, — все внятнее стал доноситься разговор орудий, Обидин насторожился и спросил: — Это что же такое? Значит, мы прямо с приезда — в бой? — Ливенцев ответил тоном бывалого вояки:

— Ну, какой же это бой! Это только — милые бранятся — просто тешатся. Это вы ежедневно в те или иные часы будете теперь слышать: весна. Это — вроде глухариного токованья.

— Вы сказали «весна», — вскинулся Обидин. — Может быть, это оно и начинается, о чем говорят и пишут, — весеннее наступление немцев?

— Не думаю. Сейчас еще грязно. Куда же наступать немцам по таким дорогам? Дайте хоть земле подсохнуть, а то орудий не вытащишь.

Один из солдат-артельщиков слушал прапорщиков, переглядывался с другим артельщиком, наконец, спросил Ливенцева:

— Неужто, ваше благородие, немец скоро пойдет на нас, как в прошлом годе? А у нас болтают обратно, будто мы на него пойдём.

— Как все эти туши съедим, то непременно пойдём, — отшутился Ливенцев, но Обидину подмигнул, добавив: — Вот, видите, какие на фронте слухи ходят? Так и знайте на будущее время: панику любят разводить в тылу, а на фронте люди сидят себе. — не унывают. Просто, некогда этим тут заниматься.

2.

Уже смерклось, когда, наконец, дотащился грузовик до деревни Дидичи, где был штаб полка. Однако вместо штаба полка попали оба прапорщика тут же, с приезда в блиндаж командира третьего батальона. Это вышло не совсем обычно даже для Ливенцева.

— Что, мясо привезли? — спросил артельщиков около остановившейся машины какой-то казак в щегольской черкеске, и артельщики почтительно взяли

подкозырек и один из них, старший, ответил:

— Так точно, мясо... а вот также их благородий к нам в полк.

— К нам в полк? Вот как! Это, значит, ко мне в батальон, — у меня недокомплект офицеров, — обрадованно сказал казак, повернувшись лицом к Ливенцеву, причем тот, несмотря на сумерки, не мог не заметить, что белое круглое лицо казака совершенно лишено растительности, так что он даже подумал: «Только-что побрился и даже усы сбрил». Кроме того, Ливенцев не понял, почему командир батальона в пехотном полку оказался казак, но тот не дал ему времени на размышление: он просто подал руку ему и Обидину и добавил к такому, отнюдь не начальническому жесту:

— Эта бланчка не простреливается противником, — здесь можно ходить во весь рост. Пойдемте в блиндаж, — поговорим там за чашкой чая.

Гостеприимство пришлось как нельзя более кстати после нескольких часов тряской и грязной дороги, а блиндаж оказался не очень далеко, так что казак не успел разговориться, — он только заботливо предупреждал, голосом басовито-рассыпчатым, где тут грязь по щиколотку, а где по колено.

Блиндаж, в который спустились прапорщики, был на редкость благоустроенным, что очень удивило Ливенцева, смнившего зимние блиндажи и окопы возле селения Коссув. Главное, в него натащили каких-то драпировок, ковров, которые при свете вполне приличной лампы, стоявшей на столе, покрытом чистой скатертью, заставляли даже и забывать, что это — всего только боевой блиндаж. И пахло в этом убежище, предохраняющем от свинца и стали, духами больше, чем табаком.

Командира батальона, — обыкновенного, пехотного, в достаточной степени старого, потому что взятого из отставки, — увидел Ливенцев здесь, в блиндаже, и тут же представился ему, по неписанным правилам стукнув при этом каблуком о каблук; то же сделал и Обидин.

Однако казак сказал тоном, не до-

пускающим возражений, и обращаясь к подполковнику:

— Я думаю, одного из них, который постарше, — в девятую роту, другого — в двенадцатую. Завтра же могут от заурядов принять и роты.

— Да, разумеется, что ж... раз оба прапорщики, то конечно., имеют преимущество по службе, — пробормотал подполковник, улыбаясь не-то радостно, не-то сконфуженно, и добавил вдруг совершенно неожиданно и несколько отвернувшись: — Я никакой глупости не говорю.

Только после этой неожиданной фразы он выпрямился и назвал свой чин и фамилию:

— Командир батальона, подполковник Капитанов!

Потом он сделал жест в сторону казака, сказал торжественно: — Моя жена! — и снова сконфузился. — Впрочем, вы ведь уже успели с ней познакомиться, — я это упустил из вида.

Только теперь понял безусость казака Ливенцев и то почему здесь драпри и ковры, и пахнет духами, но когда он поглядел на жену батальонного, то встретил суровый, по-настоящему начальнический взгляд, обращенный, однако, не к нему, а к батальонному. Так только дрессировщик львов глядит на своего обучаемого зверя, которому вздумалось вдруг, хотя бы и на два-три момента, выйти из повиновения и гривастой головою трянуть с оттенком упрямства.

Голова подполковника Капитанова, впрочем, меньше всего напоминала львиную: она была гола и глянцевиата, что, при небольших ее размерах, создавало впечатление какой-то ее беспомощности. Да и весь с головы до ног подполковник был хилват, — вот-вот закашляется затыжным, залившимся кашлем, так что и не дождешься, когда он кончит, — сбежишь.

В блиндаже было тепло — топилась железная печка. Подполковница сняла папаху и черкеску, — бешмет ее тоже оказался щегольским, а русые волосы подстрижены в кружок, как это принято у донских казаков.

Чайник с водою был уже поставлен на печку до ее прихода и теперь кипел, стуча крышкой. Денщик батальонного подоспел как-раз во-время спуститься в блиндаж, чтобы расставить на столе стаканы и уйти, повесив перед тем на вешалку снятые с прапорщиков шинели; леденцы к чаю и даже печенье достала откуда-то сама подполковница, и тогда началась за столом первая в этом участке для Ливенцева и первая вообще для Обидина беседа на фронте.

— Вы, значит, в штабе полка уже были, и это там вас направили в наш батальон? — спросил Капитанов, переводя тусклые глаза в дряблых мешках с Ливенцева на Обидина и обратно.

— Нет, мы только-что с машины, — с говязьей машины, — попали к вам... благодаря вот вашей супруге, — сказал Ливенцев.

— Так это вы как же так, позволите! — всполошился Капитанов. — Может быть, вы оба совсем и не в наш батальон, а в четвертый!.. Ведь теперь, знаете, что? — Теперь ведь четвертые батальоны в полках устраивают и даже еще две роты по пятьсот человек в каждой должны явиться, — это особо, это для укомплектований на случай потерь больших. А ведь в эти роты тоже должны потребоваться офицеры.

— Ну, что же, — я прапорщиков оставляю в своем батальоне, а заурядов пусть берут в четвертый или куда там хотят, — решительно сказала дама в казачьем бешмете.

Теперь при свете лампы, которая, кстати, была без колпака, Ливенцев посмотрел к ней внимательней и нашел, что она не очень молода, — лет тридцати пяти, — и не то, чтобы красива: круглое лицо ее было одутловато, а серые глаза едва ли когда-нибудь и в девичестве знали, что такое женская ласковость, мягкость, нежность. Будь она актрисой даже, и попадись ей роль, в которой хотя бы на пять минут нужно было ей к кому-нибудь приласкаться, она бы ее непременно провалила, — так думал Ливенцев и отказывался понять, какими чарами приворожила она Капитанова в свое

время. Впрочем, он охотно допускал, что между ними обошлось без чар.

— Вы сказали нам поразительную новость, господин полковник, — удивленно отозвался между тем на слова Капитанова Обидин.

— Да, да-а! Теперь та-ак! — очень живо подхватил Капитанов, видимо, довольный, что замечание жены можно обойти стороной. — Теперь дивизия пехотная будет считаться в двадцать две тысячи человек, — вот какая! Почти в два раза больше, чем прежняя была, трехбатальонная.

— Это что же, — в видах наступления, что ли? — спросил Ливенцев. — Конечно, на нас ли будут наступать австрийцы, мы ли начнем наступать на них, мы должны быть прочнее.

— Затеи Брусилова! — презрительно бросила подполковница, разливая чай по стаканам в серебряных подстаканниках.

— Что именно «затеи Брусилова»? — не понял ее Обидин.

— Все эти четвертые батальоны и какие-то роты там пополнения! — небрежно объяснила она. — Было желание выслужиться, — ну, вот и добился своего, — теперь главнокомандующим.

— Вам, значит, он не нравится, — догадался Ливенцев.

— А кому же он нравится? — быстро и даже сердито спросила она, так что Ливенцев счел за благо, принимая от нее стакан, сказать не то, что он думал:

— Приходилось иногда слышать в дороге, что, может быть, он будет лучше Иванова.

— А чем же был плох Иванов, — что эти болваны вам говорили? — совсем уже грозно посмотрела на него она.

Хлебнув было прямо из стакана и чуть не обварив язык, Ливенцев не сразу ответил:

— Все обвинения их сводились только к тому, что Иванов будто бы предлагал стоять на месте.

— А как же иначе? Наступать, как тут под шумок готовился сделать Бру-

силы? Мы наступать не можем! — решительно заявила подполковница и посмотрела при этом на своего мужа откровенно-яростно, точно он тоже был сторонником наступления, чего и предположить по всему его виду было никак нельзя.

Ливенцев понял подполковницу, как хозяйственную женщину, устроившую себе тут на Вольни, в деревне Дидичи, вполне сносный «домашний очаг», а к таким «очагам» женщины привыкают, как кошки, и, поди-ка, попробуй выкинь ее из привычного уклада жизни в рискованное неведомое, — глаза выдерут.

Так думая, Ливенцев заговорил, однако, о другом:

— Что вы — героическая женщина, это для меня несомненно. Женщины в тылу обыкновенно держатся на-зубок заученного ими правила: наплой на все и береги свое здоровье. А вы вот — на фронте, куда вам не так легко и просто было попасть, я полагаю. Каждый день вы под обстрелом, и если бы к вам отнесли, как к царю, который пробыл два часа на линии фронта и получил за это от генерала Иванова георгиевский крест, то и вам могли бы дать, в пример другим, хотя бы медаль на георгиевской ленте.

— Ей и должны будут дать, должны, непременно! — поспешно и тараща глазки из прихотливых складок коричневых мешков постарался поддержать его Капитанов.

Однако подполковница в бешмете презрительно фыркнула на мужа:

— Ме-даль! Поду-маешь!

Ливенцев увидел, что он дал промах: она, не желавшая наступать, считала несомненным, что ее объемистый бюст будет украшен белым крестом, а не какою-то тривиальной медалью. Но он промолчал, а батальонный, совершенно излишне теребя вышитую салфетку и глядя при этом куда-то под стол, бормотнул:

— Что ж, я ведь никакой глупости не говорю...

Очевидно, у него уже была неискоренимая привычка говорить так в присутствии жены.

— Неприятельские окопы далеко ли

отсюда? — спросил Ливенцев, чтобы затушевать неловкость.

— От наших окопов только пятьсот шагов, — ответила на это подполковница вполне по-деловому, как на вполне деловой вопрос.

— Пять-сот ша-гов? — удивился Обидин и даже на Ливенцева посмотрел, — не шутка ли это? Ливенцев сказал спокойно:

— Расстояние приличное. Давно уж оно не нарушалось?

Вместо прямого ответа на вопрос, обращенный к лысому Капитанову, ответ получился косвенный от его супруги:

— В том-то и дело, что против нас сидят не такие уж отпетые дураки! Они нас не очень беспокоят, и мы их тоже.

— Значит, полная взаимность. Но перестрелка все-таки ежедневная? — спросил Ливенцев теперь уже подполковницу, и та ответила, наливая ему новый стакан чаю:

— Разумеется, а как же иначе!

Тут же после чаю она распорядилась, чтобы денщик, — по фамилии Коханчик, — белобрысый, молодой еще малый торопливых движений, развел новых ротных командиров по их ротам.

— Как же все-таки без разрешения командира полка... — попробовал было заикнуться батальонный, но она так крикнула на него: — Не твое дело! — что он тут же умолк.

Зато чуть только из уютного блиндажа Ливенцев вышел в ночь и грязь, он сказал Обидину:

— Конечно, мы сейчас должны идти к командиру полка.

— Как сейчас? Ночью? — возразил Обидин.

— Ночью только и ходить в таких гиблых местах.

— А почему же не в свои роты?

— В какие «свои»? От кого вы их получили?

И Коханчику, который остановился в нескольких шагах от блиндажа, Ливенцев приказал:

— Веди-ка нас, братец, к командиру полка.

Однако он тут же увидел, что не на того напал. Коханчик, еле различимый в темноте, отозвался на это твердо:

— Велено развести господ офицеров по ротам: кого в девятую, так это суюдою итить, а кого в двенадцатую — туюдою.

И он махал руками в одну сторону и в другую, находясь в понятном затруднении, с которой именно начать.

— Ни «туюдою», ни «суюдою» нам не надо, братец, — досадливо сказал Ливенцев. — Веди в блиндаж командира полка, — вот тебе одно направление.

Но Коханчика переубедить оказалось трудно; прапорщики услышали из темноты:

— Цего я не мѡжу, ваше благородие, — бо я обязан спольнить приказание командира батальона.

Ливенцева не столько обидело это, сколько развеселило.

— А кто же у тебя командир батальона? — спросил он не без лукавства и услышал вполне обстоятельный ответ:

— Хотя же, конечно, считается так, что их высокоблагородие подполковник Капитанов, ну, однако, распоряжения идут от их высокоблагородия барыни.

Ливенцев рассмеялся и отпустил Коханчика.

Можно было вполне обойтись и без него: по ходам сообщения двигались в ту и в другую сторону солдаты, и всем им было известно, где находится штаб полка.

3.

По дороге к блиндажу полкового командира Ливенцев узнал, что фамилия его Кюн.

— Как Кюн? Немец, значит?

Это было очень неприятно Ливенцеву, но спокойным голосом солдат-вожатый ответил:

— Точно так, похоже, что они из немцев.

— Может быть, латыш, а не немец, — вздумалось поправить этот ответ Обидину.

Ливенцев вздохнул и буркнул:

— Будем надеяться, что латыш.

Полковник Кюн был еще далеко не стар, — едва ли набралось бы ему пятьдесят лет; вид к концу дня имел не усталый, — напротив, — будто только-что выпался; в светловолосом жи-

ке на вытянутой голове седины совсем не было; человек рослый, молодцеватой выправки, он принял двух новых офицеров, явившихся в его полк, до такой степени наигранно-любезно, что у Ливенцева в первую же минуту никаких сомнений не осталось: немец.

— А я вас поджидал, как же, — улыбаясь радостно, как старший приятель, а совсем не новый начальник, говорил Кюн, когда оба они назвали свои фамилии. — Разумеется, бумаги о назначении приходят все-таки раньше, чем сами назначенные могут добраться, хе-хе! Транспорт, — вот где наша Ахиллесова пята!

— У нас много слабых мест и кроме транспорта, — попробовал вставить Ливенцев.

— О, да, о, да, разумеется, много! — весь сморщился и даже глаза закрыл Кюн, но ревниво за ним наблюдавший Ливенцев не нашел никакой горечи в этой мимике.

В петлице теплой тужурки Кюна небрежно торчал «Владимир» с мечами, — тот самый орден, о представлении к которому Ливенцева писали однажды приказ, но не послали.

— Ну, что, как там в тылу, откуда вы приехали? — спросил Кюн с явным любопытством.

— В каком именно смысле, господин полковник? — не понял вопроса Ливенцев.

— Ну, разумеется, — настроения в обществе касательно войны в дальнейшем, и тому подобное! — с игривой улыбочкой уточнил Кюн. — «До победного конца», — как Меншиков в «Новом времени» пишет?

— Есть и такие мнения, — тут же, как подстегнутый, немножко резко по тону, ответил Ливенцев.

Обидин же добавил:

— Но больше все-таки противоположных, что воевать мы едва ли в состоянии.

— Поэтому? — оживленно повернул голову от Ливенцева к Обидину Кюн.

— Выводы из этого положения всякий делает по-своему, — уклонился от прямого ответа Обидин, а Ливенцев вставил свой вывод:

— Все-таки все сходятся на одном: разговаривать о мире с немцами сейчас могут только одни мерзавцы!

— Хо-хо-хо! — добродушно с виду рассмеялся Кюн. — Это хорошо сказано!.. Ну, что же, господа прапорщики, ведь вам с приезда надо бы хоть чаю напиться... Позвольте-ка, как бы это вам устроить?

— Мы уже пили чай, господин полковник, — сказал Ливенцев, — у командира третьего батальона.

— У Капитановых? Вот как?... Как же вы к ним попали? Оригинал-ная пара, не правда ли? — с таким видом, точно приготовился рассмеяться, зачастил вопросами Кюн и брови поднял; но Ливенцев был вполне серьезен, когда говорил в ответ на это:

— Конечно, в третьем батальоне у вас, господин полковник, тоже может быть недокомплект офицеров, — но мы очень просили бы вас назначить в какой-нибудь другой батальон.

— Как, как? Они же вас, оказываются, чаем напоили, и вы же против них что-то возмели?

Кюн протянул это без видимой задней мысли, только с любопытством насчет того, какое же именно недоразумение могло произойти так вот сразу между новоприбывшими прапорщиками и четой Капитановых.

— За чай мы им, конечно, очень благодарны, но служить нам хотелось бы все-таки в другом батальоне... просто потому, что одно дело приватный чай, и совсем другое — служба на фронте, — сказал Ливенцев все, что хотел, надеясь избежать этим излишних вопросов.

И Кюн оказался понятлив.

— Да ведь у нас офицеров только подавай, — помилуйте! — заторопился он. — Оба вы как прапорщики, прошедшие школу...

— Я, господин полковник, из старинных прапорщиков запаса, и школу проходил только на Галицийском фронте, — перебил Ливенцев.

— Тем лучше, тем еще лучше! — продолжал Кюн. — Поэтому оба вы и получите у меня роты, но-о... в новом

моем батальоне, в четвертом, а не в третьем.

— Очень хорошо, — сказал на это Ливенцев, Обидин же отозвался застенчиво:

— Не знаю, господин полковник, справлюсь ли я?.. Мне бы лучше сначала полуротным.

— Ну-ну, — полуротным. Вас полуротным, а зауряда ротным? — удивился Кюн и добавил: — И разве вы не знаете разницы между окладами ротного и субалтерна?.. Ничего, подучитесь... Вот, ваш старший товарищ вам поможет, — кивнул он на Ливенцева, но тут же добавил:

— Вы-то командовали, надеюсь, ротой?

— Так точно, господин полковник, — постарался ответить вполне официально Ливенцев.

В это время отворилась входная дверь в блиндаж, и снаружи ворвался сюда орудийный очень гулкой выстрел, а за ним с небольшими промежутками еще два, и Кюн, к удивлению Ливенцева, вдруг вскочил с изменившимся лицом, точно орудийные выстрелы на позициях были для него новостью.

— Что такое? Что такое, я вас спрашиваю?! — накинулся Кюн на вошедшего с кучей бумаг офицера, точно он был причиной пальбы.

— Постреляют — перестанут, — спокойно сказал офицер с бумагами, здороваясь с прапорщиками. Сам он тоже оказался прапорщик, годами несколько постарше Ливенцева, который безошибочно угадал в нем адъютанта полка. Фамилия у него была простая — Антонов — и лицо простоватое, бесхитростное и несколько дней на вид небритое, должно быть, по недостатку времени.

Кюн вышел в другое отделение блиндажа, к связистам, справляться, кто и во что стреляет, Антонов же успел за это время и узнать, что вот прибыли в полк те, кого поджидали, и шепнуть, что командир полка имеет особенность: не выносит пушечной пальбы.

— Вы шутите? Как так не выносит? — спросил Ливенцев.

— Не могу вам объяснить, как так это у него происходит, а шутить не шучу: я уже около него три месяца, и каждый раз, чуть только пальба, — такая история.

— Почему же он на фронте? — удивился Ливенцев.

— Потому что полковник имеет сильную протекцию, метит в генералы и здесь проходит стаж.

Ливенцев успел только многозначительно переглянуться с Обидиным, когда вернулся Кюн; да и поднятая была стрельба из орудий прекратилась так же внезапно, как поднялась.

— Этот дурак Поднимов с аэропланного взвода! — обратился он к Антонову. — Ему захотелось показать, что он, как это называется, стоит на страже! Будто бы летели два неприятельских аэроплана, а он приказал по ним стрелять и отогнал... вот подите с такими! Почему он знал, что это неприятельские, а не наши? Да, и летели ли они, или у него в ушах звон? Тоже показывает старание не по разуму!

Ливенцев наблюдал этого нового своего командира с большим любопытством, стремясь догадаться, в какой именно отрасли военного дела проявлял себя такой любитель тишины, готовый отменить всякую вообще стрельбу на фронте, как совершенно излишнюю.

Блиндаж командирский был не только обшит кругом досками, но еще и оклеен обоями. Фигурные бронзовые часы старинной работы стояли на столе. Пол был досчатый, и соломенный мат для вытирания ног лежал у двери. Блиндаж хорошо проветривался, так что не чувствовалось сырости в нем, несмотря на сырую весеннюю погоду. Потолок из толстых бревен был тоже облицован досками и оклеен белой бумагой. Вообще за зимние месяцы тут было сделано все, что можно, чтобы доставить командиру полка возможные удобства.

Это заставило Ливенцева подумать, что будет за блиндаж у него, командира роты, которой ведь не было на позиции до последнего времени, и чем его можно если не украсить, то хоть несколько привести в удобный для жизни

вид. Об этом он и спросил Кюна, взявшего уже в руки бумаги, принесенные Антоновым.

— Вы, прапорщик Ливенцев, назначаетесь мною ротным командиром тринадцатой роты, а вы, прапорщик Обидин, — четырнадцатой, совершенно служебным уже тоном ответил Кюн. — Что касается блиндажей для вас, то они имеются налицо, в примитивном, разумеется, виде. И это уже от вас зависит как-нибудь их обставить, если вам удастся найти для этого что-нибудь тут в деревне.

— Я, признаться, не заметил как-то с приезда, велика ли деревня, — сказал Ливенцев, поднимаясь с места.

— Трудно ее и заметить, — улыбнулся Антонов, проворно пиша бумажки о назначении и ставя на них печати, — она почти вся сгорела и растаскана по бревнышку на блиндажи.

— Все-таки десятка два домишек, кажется, осталось, — добавил Кюн, — подписывая эти бумажки. — Так вот подите, отдохните с дороги, господи, познакомьтесь со своими ротами, а завтра мне доложите. — Кстати, они у нас стоят пока в резерве.

Ливенцев и Обидин простились с Кюном и пошли искать четвертый батальон и в нем свои роты. Провожатого солдата им дал Антонов.

4.

Это бывает с каждым человеком, который долго куда-то, — куда бы то ни было, — едет или идет, — вообще движется. Безразлично даже, желанное и радостное это или нет, — но вот цель достигнута, путь окончен, — дальше двигаться некуда и незачем, — и тогда наступает заминка во всем человеке: усталость, если был перед этим подъем; охлаждение, если во-всю перед этим цвела и пела душа; сдержанность, если была порывистость, и, наконец, густое и холодное сознание обреченности, если и в пути ничего хорошего не ожидалось.

Так было и с Ливенцевым, когда он добрался, наконец-то, до новой для него роты в новом полку.

Было нечто вроде оторопи, когда хочется подергать себя за рукав, чтобы убедиться, что ты не спишь и не какой-то скверный сон видишь, а перед тобой действительность, страшная и непостижимая, которой ты удостоен отнюдь не за свое поведение, так как решительно никаких преступлений против своего ближнего ты не делал и даже не желал никогда «ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его».

Блиндаж командира тринадцатой роты оказался несравненно хуже обоих блиндажей на позициях, которые только видели Ливенцев и Обидин. Но не то даже так удручающе подействовало на Ливенцева, что с бревен наката капало в какой-то грязный таз, что влажная глина стен тускло блестела, что под ногами грязь, от которой пытались спастись тем, что разложили кое-как по полу кирпичи, — он и разглядел-то все это уже потом, а не сразу, потому что сразу с прихода он ничего как следует и разглядеть не мог.

Стоял неприглядный махорочный дым, в котором чуть желтело, как волчий глаз, маленькое, узенькое пламя чего-то — свечки или каганца, — причем пламя это все время то как-то порхало, то заслонялось головами нескольких человек, свирело игравших в карты.

Именно, свирело: — горласто, видимо пьяно, с тяжеловесной бранью... Около минуты стояли у входа в эту мрачную яму Ливенцев и Обидин, но на них едва ли обратили бы внимание игравшие, если бы Ливенцев не крикнул во весь голос:

— Встать! Смирно!

Дорогой от провожавшего солдата Ливенцев узнал, что и тринадцатой и четырнадцатой ротой временно командуют подпрапорщики из унтер-офицеров, и теперь больше чутьем, чем глазами, определил, что офицеров среди игравших в карты нет.

Команда «встать!» была подана так энергично, что все вскочили и стали навывтяжку, а так как Ливенцев, говоря: «Ну, и начадил!» усиленно начал разгонять обеими руками дым, то ему в этом стал помогать и Обидин.

Обозначилось, наконец, что в блинда-

же было всего четверо, но кто из них был командующий тринадцатой ротой, угадать, конечно, не мог Ливенцев, особенно при таком тусклом свете, поэтому сказал:

— Командующий тринадцатой ротой имеется тут?

— Я — командующий тринадцатой ротой! — хрипавато отозвался подпрапорщик, выступая на шаг вперед.

— Вот у меня бумажка за подписание командира полка, полковника Кюна, — стараясь говорить как можно отчетливее, несмотря на душивший его дым, достал из кармана свое назначение Ливенцев и поднес к свечке, чтобы можно было прочесть его вслух, но чуть не наткнулся на раскаленную тонкую проволоку, пучком торчавшую из узенького копящегося пламени.

Он прочитал все-таки:

— «Приказываю командующему 13-й ротой вверенного мне полка, подпрапорщику Некипелову, сдать роту, а вновь назначенному в полк прапорщику Ливенцеву ее принять, о чем донести мне рапортом.

Командир полка, полковник Кюн».

Потом обратился к подпрапорщику:

— Вы — подпрапорщик Некипелов?

— Так точно, я — подпрапорщик Некипелов, — ответил тот.

Ливенцев подал ему руку и спросил:

— Остальные тут кто с вами?

— Остальные тут... (Некипелов кашлянул и зло поглядел на Ливенцева), фельдфебель роты нашей и два взводных унтер-офицера.

— Очень хорошо... А теперь скажите мне, пожалуйста, что у вас такое горит? Это не провод ли?

— Действительно так, это провод.

— Откуда же он у вас взялся? — удивился Ливенцев.

— Ребята где-то обрывок подобрали.

— То-есть, средство связи сжигается в окопах за неимением свечей, так?

— Действительно, свечей не выдают, это так, — подтвердил Некипелов.

— А если сожгут все провода, то как будет телефон работать? Ведь этого только и добивается наш противник, чтобы у нас не было связи ни с нашими батареями, ни с позициями, чтобы ниче-

го экстренного передать было нельзя, а как же вы, командующий ротой, делаете то, что на-руку только нашим врагам?

— Ну, без света в окопах сидеть так же нельзя, господин прапорщик! — угрюмо, пьяно и зло возразил Некипелов.

— Надо было требовать свечей, а за такое подлое отношение к своим же средствам связи отдавать под суд, — вот что надо было сделать! — выкрикнул Ливенцев и, так как у него был припасенный им еще в дороге огарок, то он собственноручно вонзил его в горлышко пустой бутылки, выкинув оттуда скрученный жгутом кусок черного провода.

— Откуда у вас взялась свечка? — спросил все время безмолвный до того Обидин.

— Как откуда? Я ведь по горькому опыту знал, куда я еду, — сказал Ливенцев и поднял на высоту своего лица бутылку с огарком, чтобы рассмотреть и Некипелова и других трех и чтобы они могли в свою очередь рассмотреть его, своего отныне ротного командира.

— Так... фельдфебель, — как фамилия?

— Верстаков, ваше благородие!

— Верстаков, — повторил Ливенцев, присматриваясь к оплывшему, как свечной огарок, не-то от пристрастия к хмельному, не-то от окопной сырости, — разлившемуся и в стороны и вниз лицу своего фельдфебеля, и спросил: — Какого срока службы?

— Срока службы... девяносто пятого года, ваше благородие, — с запинкой ответил Верстаков, казавшийся более захламленным, чем остальные.

— Начал службу в каком полку?

— В 73-м Крымском пехотном, ваше благородие.

— А-а, девятнадцатой дивизии первый полк... В Могилеве-Подольском стоял? —

— Так точно, в Могилеве-Подольском, — заметно оживился Верстаков.

— Выходит, что мы в старину были однополчане, — я в Крымском полку как-то отбывал шестинедельный учебный сбор, — сказал Ливенцев уже гораздо мягче по тону, и о Верстакове он подумал, что тот просто опустил, а выправить его, пожалуй, можно будет.

Взводные унтер-офицеры, — один Мальчиков, другой — Гаркавый, — не успели еще так отяжелеть, как фельдфебель, хотя были не моложе его. Зато теперь успели уже настолько отрезветь, что старались держаться, как в строю, и в Гаркавом, который оказался родом из Мелитопольщины, Ливенцеву так хотелось видеть второго Старосилу, что он простил ему даже и явное нежелание запускать бороду.

Зато Мальчиков, когда в упор на него навел свечу Ливенцев, был не только густобород, но еще и крижист, а главное, гораздо моложе на вид своих сороска с лишним лет.

— Ну, этот, кажется, из долговечных, — сказал о нем Ливенцев, обращаясь к Обидину. — Какой губернный уроженец?

— Вятской, ваше благородие, — эта губерния, она так и считается изо всех долговечная, — словоохотливо ответил Мальчиков.

— Гм... не знал я этого, — удивился Ливенцев. — А почему же так?

— А почему, — нас отцы наши так приучили: вот, сосна цветет весной, — этот самый с нее цвет бери и ешь себе, — никакого туберкулеза иметь не будешь, потому что там ведь сера, в этих цветочках в сосновых. Также весной, когда сосну спилят, из нее сок идет, опять же мы в детях и этот сок пили... Вот почему наши вятские жители по сто и более годов живут, — говорил Мальчиков четко и на «о». Ливенцев спросил его:

— Отец-то жив?

— А как же можно, ваше благородие! Девяносто семь ему сейчас будет, ничуть не болеет, как бывает в такие годы, и все дела справляет в лучшем виде, — с явным восхищением и своим отцом, и своей губернией говорил Мальчиков.

Поговорив еще и с Гаркавым и с фельдфебелем, Ливенцев, наконец, отпустил их в роту, сказав:

— Теперь уж поздно, а завтра я уж с утра пройду по окопам, посмотрю людей.

Ушли трое, — в блиндаже стало заметно просторнее, и вот тогда-то разглядел Ливенцев всю убогость своего

жизлища, рассчитанного на долги, может быть, дни, и оценил как следует и ковры, и драпри, и лампу, хотя без абажура, у Капитановых.

— Прикажете сейчас сдать вам все ротные ведомости? — мрачно спросил Некипелов.

— Нет, это уж завтра, — сказал Ливенцев, только по движению подпрапорщика заметив в углу стола кипу бумаг, накрытую газетой, а рядом с нею пузырек с чернилами, ручку с пером и карандашик.

В блиндаже было два топчана с очень грязными тюфяками на них из каких-то рыхлых мешков, и Ливенцев спросил подпрапорщика:

— На какой же из этих роскошных кроватей спите вы?

— Я вот на этой, — безулыбочно ткнул пальцем в один из топчанов Некипелов.

— Хорошо-с, вы на этой, а на другой кто имеет обыкновение почивать?

— А на другой — фельдфебель.

— Вот как! Так, значит, он не с ротой, а я его в роту послал! Ну, с сегодняшней ночи он уж пусть устраивается там с ротой: это во всех отношениях лучше и даже необходимо... Теперь остается, стало быть, вам пойти познаться со своей четырнадцатой ротой, — обратился Ливенцев к Обидину, но тот забормотал растерянно:

— Я чтобы... сейчас... так поздно? Не лучше ли мне это завтра с утра, а?... Я, признаться, очень хочу спать... Я мог бы вот тут на столе устроиться, если вы позволите... Я раздеваться, конечно, не стану, а просто так, как есть...

— Да я вам могу свой топчан уступить на ночь, — что же тут такого, — вдруг начал сворачивать свою постель Некипелов, действуя довольно проворно длинными руками.

Он и весь был длинный, но в то же время с каким-то неестественным, может быть, даже переломанным носом, под которым торчали небольшие белесые усы.

— Вы за боевые заслуги получили

подпрапорщика? — спросил его Ливенцев.

— А как же? Разумеется, я в юнкерском не учился, — хрипло ответил подпрапорщик и, неся перед собой свой тюфяк из ряднины и замасленную подушку, ушел, не пожелав даже новому ротному командиру, своему теперь начальнику, покойной ночи.

Впрочем, напрасно было и желать этого: покойной первая ночь в таком логовище быть все равно не могла.

Ливенцев не препятствовал его уходу, потому что ему было жаль Обидина, состояние которого он понимал как нельзя лучше.

Огарок свечи в бутылке освещал бледное, с расширенными тоской зрачками, лицо командира четырнадцатой роты.

— Боже мой, боже мой, — что же это за кошмар такой! — заговорил он вполголоса, даже не глядя на Ливенцева, а будто наедине с собой. — Значит, только затем и работал человеческий мозг десятки, а может быть, и сотни тысяч лет, создавал цивилизацию, культуру, изобрел железные дороги, автомобили, аэропланы, телеграф, телефон, радио и прочее, и прочее, и все это только затем, чтобы загнать человечество в такие вот волчьи логова и в лисьи норы и систематически расстреливать десятки миллионов людей в течение нескольких лет... значит, только затем, а?

— Это — один из проклятых вопросов... простите, не знаю вашего имени — отчества...

— Павел Васильевич... а ваше?

— Я — Николай Иванович... Так вот, — проклятый вопрос... А эти проклятые вопросы потому-то и проклятые, что пока неразрешимы. Блаженны верящие, что долголетие вятичей — от соснового цвета и от соснового сока. А если бы не было у них под руками сосны, — во что бы могли они верить?

— Что же делать? Что же, скажите, Николай Иванович, делать? — трагически проговорил Обидин.

— Сейчас? — Спать! — спокойно ответил Ливенцев. — О проклятых же вопросах думать завтра.

Продолжение следует.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН

К. СИМОНОВ

Рассказ

★

I

Это было далеко в немецком тылу. Мела мокрая весенняя заполярная пурга.

Разведчики, сбросившись с самолета, шли к мосту, тяжело нагруженные взрывчаткой.

На первом же переходе они неожиданно напоролись на немецкий отряд.

Единственным выходом было — отойти от немцев и притти к мосту хотя бы на полчаса раньше них. После первой оттепели скалы совсем обледенели. Немцы гнались по снегу, то отставая, то путаясь в сопках, то снова выходя на след.

Все шло бы хорошо, если бы в первой же стычке не ранили лейтенанта Ермолова. Это была шальная очередь из автомата — то самое дикое невезение, которое вдруг выпадает людям, десятки раз, смеясь, проходившим под самым носом у смерти. Ермолову перебило обе ноги выше колен. Здесь, без помощи врача, это означало смерть через несколько часов. Он упал, потом приподнялся на локтях и попросил пить. Ему влили в рот несколько глотков из фляжки. Он посмотрел на свои неподвижные ноги, на темную лужу крови под ними, быстро пропитавшую снег, и сказал: «Оставьте меня». Все знали, что он прав, но оставить его было выше их сил. Капитан Сергеев, стараясь не глядеть в глаза Ермолову, приказал поднять его и нести. Их было четверо. Несли Ермолова по двое, по очереди. Остальные двое несли

взрывчатку. На крутых подъемах Ермолова клали на снег, потом карабкались вверх сами, и нижние на руках передавали его верхним. Но, как они ни старались быть осторожными, из этого ничего не выходило.

Они двигались теперь медленнее, и немцы прилипли к их следу. Шедшие сзади ложились то за один, то за другой камень и, отстреливаясь из ручного пулемета, задерживали погоню. Через два часа это начало терять смысл: они теперь двигались настолько медленнее немцев, что те, наверное, уже где-то обходили их по флангам и могли выйти к мосту раньше их.

Когда переходили широкую снежную ложину, Ермолов на минуту очнулся от боли. Сергеев приложил ухо к его воспаленным губам.

— Ближе. Еще ближе, — сказал Ермолов.

— Так не делают, — сказал Ермолов. И хотя слова были едва слышны, голос его вдруг стал твердым и злым. — Так не делают. Это измена.

Он замолчал и закрыл глаза. Он не хотел говорить.

Сергеев понял, что слово «измена» сказано нарочно, чтобы заставить его сделать так, как хотел Ермолов. Ермолов боялся за мост. То, чего он хотел, было необходимо — страшно, но необходимо. Сергеев отошел и молча продолжал шагать рядом. Когда они пересекли ложину, на склоне маленькой, загроможденной камнями сопки он приказал подо-

жить Ермолова. Его положили в снег на плащ-палатке. Он потерял много крови и минутами уже терял сознание. Сергеев приказал остальным итти вперед. Всю тяжесть последнего прощания брал он на себя. Он отстегнул от пояса фляжку и, вынув из мешка банку консервов, открыл ее своим финским ножом. Он положил консервы и фляжку рядом с Ермоловым, с левой его руки. Потом расстегнул у него кобуру и, достав наган, тоже положил его на плащ-палатку, так, что деревянная ручка коснулась пальцев Ермолова.

Ермолов смотрел на него спокойными, немигающими глазами и молчал. Он полусидел, как в кресле, прислоненный к двум углам сходящихся камней.

Теперь Сергеев мог смотреть ему в глаза. Он сделал все, как было нужно и как хотел умирающий.

— Все, — сказал Сергеев. — Прощай.

Ермолов, все так же молча, неожиданно сильным пожатием стиснул его руку.

Сергеев ушел, не оборачиваясь. Через секунду его белый халат скрылся за выступом скалы, и Ермолов подумал, что это последний человек, которого он видит в своей жизни, не считая немцев, которые придут сюда.

Ему было очень больно и хотелось скорее прервать это мучительное состояние, но при мысли о немцах желание сейчас же застрелиться оставило его. Он поднял наган, взвел курок и выстрелил в воздух. Он не хотел мучить неизвестностью товарищей: пусть подумают, что все кончено, и поставят на этом крест. А он еще будет бороться. Его обрадовала та легкость, с какой он взвел тугой курок нагана. В руках у него еще была сила, — это хорошо. Он снова приподнял наган и попробовал прицелиться в торчавшее из снега зеленое пятнышко ягеля. Он легко поймал его на мушку, рука не дрожала. Он опустил наган.

Сыпал снег. Все небо было в бледных снеговых тучах. Полярное солнце не заходило, но сумерки были темнее, чем обычно. Чутьем старого разведчика он чувствовал, что немцы рано или поздно пройдут мимо него по этому следу. Во-

прос заключался только в том, на каком расстоянии они его заметят. Шагов на тридцать можно попасть. Он с тревогой всмотрелся в небо.

Он был один, совсем один, никто ему не мог помочь, — ни товарищи, ни его самый старый друг, — отец. Закрыв глаза, он вспомнил отца таким, каким видел его в последний раз в землянке, в штабе армии. Отец сидел над своими артиллерийскими таблицами и, покусывая папиросу, ворчливо, не поднимая головы, говорил, что разведчики плохо работают, — за последний месяц засекали всего четыре батареи. Но, не смотря на ворчливый тон отца, Ермолов знал, что он работал хорошо и что отец был им доволен, и что все это борчанье просто так — по старой памяти, чтобы скрыть свою любовь к единственному сыну.

Сейчас пришли на память, в беспорядке сменяясь одна другой, разные мелкие подробности дружбы с отцом. Как отец ругал его, ничуть не жалея, когда он падал с лошади в детстве, как они дрались на эскадронах в спортивном зале артиллерийского училища, где отец тогда служил, как он загнал отца в угол и как тот был доволен и в первый раз, усмехнувшись в усы, сказал за обедом, чтобы мать поставила на стол две водочных рюмки — «для обоих мужчин». Он вспомнил, как отец был неласков к нему и ни разу в жизни не назвал его уменьшительным именем, а всегда только «Алексей», как он всегда бранил его при знакомых и хвалил редко, только за-глаза. И вдруг со всей остротой чувств, какую приобретает человек, которому осталось очень мало жить, он почувствовал ту отчаянную любовь, нежность и гордость, которые прятались за их долголетней спокойной, чуть холодноватой дружбой с отцом. Да, конечно, он любил мать, но сейчас не вспоминал ни ее ласковых рук, ни ее усталой улыбки, ни ее тонких морщинок у глаз, когда она плакала. Все это теперь казалось ему очень далеким и не относилось к тому, что происходило с ним сейчас. Но мелочи, которые он вспомнил, думая об отце, были сейчас ему очень важны: они имели самое прямое отношение к тому, что

он лежит здесь и что у него под рукой наган и что, едва удерживая в себе желание покончить с этой чудовищной болью в ногах, он все-таки ждет и будет ждать.

Должно быть, он решил так не только потому, что одиннадцатый раз ходил в разведку и привык к мысли о жестокой смерти. Но он решил так еще и потому, что с четырех лет ездил за отцом из казармы в казарму, из части в часть, потому, что отец не жалел его, когда он падал с лошади, потому, что отец был счастлив, когда он прижал его в угол, дерясь на эскадронах, потому, что, наверное, отец не мог бы себе представить, что он умрет не так, как хочет умереть сейчас.

Он открыл глаза и посмотрел кругом. Попржнему сыпал сильный снег, его ноги совсем замело и уже не было видно темных пятен на плащ-палатке. Ему на секунду почудилось, что он мальчишкой лежит в кровати, и это не снег, а белое одеяло и мать сейчас его закроет до плеч и подоткнет одеяло вокруг шеи. Должно быть, его клонило ко сну от потери крови. Это было какое-то оцепенение, из которого надо было выйти во что бы то ни стало. Стиснув зубы, заранее приготовившись к боли, он, собрав силы, неожиданно дернул ногой. На минуту было утихшая, чудовищная боль пронизала его: стало так больно, словно его насквозь проткнули палкой. Но он добился, чего хотел, — от этой боли оцепенение прошло.

Он прислушался. Справа, за скатом сопки послышались шорохи. «Хорошо, что так скоро», — подумал он и левой рукой переложил банку с консервами направо от себя. Потом, взведя наган, поставил правый локоть на банку, — так было выше и устойчивее.

Шорохи становились все слышнее. Немцы шли неосторожно. Это было хорошо. Но почему он один, совсем один? Если бы здесь были хоть двое его ребята с автоматами...

«Через минуту все кончится и никто не узнает, как это было, ни одна душа, даже отец», — подумал он с тоской.

Потом поудобнее поправил на банке наган и еще раз проверил, может ли

поймать на мушку все тот же, теперь уже еле видный под снегом, кусочек зеленого ягеля.

Первый немец прошел в пятнадцать шагах, не повернувшись в его сторону. Второй, в грязной белой куртке поверх серой егерской шинели и с автоматом на шее, наклонился к тропинке и, вдруг посмотрев влево, в его сторону, крикнул. Ермолов до боли крепко прижал к банке локоть и выстрелил. От сильной отдачи его ослабевшая рука соскользнула с банки. Он опять с трудом поставил локоть на банку и прицелился во второго немца, который, услышав крик и падение тела, повернулся к нему. Автомат зацепился у немца за тесемки халата и, пока он срывал его с плеча, с шеи, Ермолов ждал. Он выстрелил только в самое последнее мгновение, когда немец, уже швырнув автомат на руку, схватился за курок. Немец выронил автомат, спотыкаясь пробежал несколько шагов вперед и упал лицом в снег, совсем рядом, почти коснувшись руками ног Ермолова.

Из-за склона показались сразу несколько теней. Именно — теней. И потому, что это были уже не люди, а какие-то сливающиеся темные пятна, Ермолов понял, что он теряет сознание и что если не хочет попасть к ним в руки живым, то должен сделать последний выстрел. В самую последнюю секунду он вдруг вспомнил о матери, так часто гладившей его лицо и волосы, и приложил наган не к виску, а упер его под расстегнутым ватником в гимнастерку, на три пальца ниже левого кармана. Он так крепко стиснул пальцы, что его правая рука последним движением так и упала в снег, с зажатым в ней наганом.

II

В штаб армии полковник Ермолов вернулся только к утру. Последние двадцать километров он из-за весенних снежных заносов прошел пешком и, с наслаждением стащив проможенные сапоги, теперь лежал на низкой койке и курил. Небывалая в это время года метель бушевала уже вторые сутки. Из землянки мгновенно выдувало тепло, и полковник время от времени вставал бо-

сиком, чтобы подбросить дров в круглую железную печку. Он уже доложил начальству обо всем, что творилось впереди, койка комиссара, еще не вернувшегося из дивизии, была пуста, и в землянке стояла непривычная тишина, изредка нарушаемая только треском поленьев и гулкими порывами ветра за стеной.

То, что прежде, в мирное время, считалось одиночеством — отсутствие родных, жены и сына, разлука со своим домом, — теперь, во время войны, одиночеством уже не казалось. Бесконечное количество людей, приходивших к нему — начальнику артиллерии армии, — днем и ночью, его комиссар — веселый и хитрый ярославец, с которым они одиннадцатый месяц делили общий кров, его командиры полков, которых он всех знал по голосам и еженощно вызывал к телефону, — все это, вместе взятое, заполнявшее до конца каждый его день и составлявшее его жизнь, давно лишило его чувства одиночества. Но сегодня, когда из-за метели на наблюдательных пунктах была плохая видимость, когда вдруг на час или два исчезла необходимость в телефонных звонках и даже разговорах здесь, в штабе, а ему все-таки почему-то не спалось, острое чувство одиночества вдруг охватило его.

Он попробовал представить себе жену. Но она сейчас была где-то далеко, в Сибири, перед его глазами промелькнула только бесконечная цепочка конвертов, надписанных ее рукой, — одни из них лежали еще где-то там, в Сибири, в почтовом ящике, другие ехали в вагоне, третьи уже близко, здесь, на почте разбирала чья-то чужая рука. Все они двигались и ехали к нему, но все-таки это были всего-навсего только письма.

А сын был здесь. И, может быть, оттого, что он находился постоянно здесь, совсем близко от него, полковник особенно остро ощутил сейчас одиночество. Он редко видел сына. В свое время он попросил старых друзей, чтобы сына направили в ту же армию, где был он сам, но именно потому, что, изменив своим обычаям, он позволил себе однажды такую просьбу,

он не сделал ничего, чтобы видиться с сыном чаще, чем этого требовала служба. А служба требовала этого очень редко. В последний раз он видел сына месяц назад, здесь — в землянке — когда тот докладывал о результатах дальней артиллерийской разведки. Полковника обрадовало тогда, что у сына твердое мужское лицо, что он спокоен, немногословен, и даже, быть может, излишне официален с ним, своим отцом. Он впервые почувствовал тогда, что ласковая, суетливая баловница-жена, с которой он так много спорил об этом, все-таки не испортила ему его единственного сына, и в двадцать лет он увидел его таким, каким хотел видеть и каким, по своим воспоминаниям, он сам был в его возрасте. Ему даже понравилось, что сын отказался выпить с ним чаю и, вытянувшись, попросил разрешения итти. Он разрешил ему итти, но когда тот дошел до двери землянки, полковник вдруг окликнул его:

— Алексей!

И когда сын обернулся, подмигнул ему лукаво, по-дружески, как в детстве после какого-нибудь озорства, предвещавшего в сыне будущего мужчину. Сын в ответ тоже подмигнул ему и, все еще улыбаясь, повторил:

— Разрешите итти?

Такой была их последняя встреча.

В сущности же он нежно любил его и тосковал без него так, как могут тосковать только отцы, у которых есть единственные сыновья, олицетворяющие всю их надежду и гордость, всю их веру в то, что эти мальчишки, а потом юноши станут, в конце концов, настоящими мужчинами, — такими же, как они сами, или еще лучше их.

Именно стыдясь своей слишком большой, по его мнению, нежности, полковник называл сына вслух всегда только «Алексей», хотя про себя, в мыслях своих, никогда не называл его иначе, как Алеша и Алешка. Иногда ему казалось, что сын догадывался об этой его нежности, чувствует ее, и как-раз в эти минуты он бывал с ним особенно суров.

В землянке опять стало холодно. Полковник сел у печки и начал подбрасы-

вать поленья. Вид этой железной печки вдруг напомнил ему юность, — дни, когда он командовал легкой конной батареей у Буденного. Он за последнее время привык к штабной работе и при случае зло и сухо высмеивал тех из своих подчиненных, которые любили без нужды лезть вперед. Но иногда он чувствовал, что у него отнято непосредственное ощущение встречи с врагом, упоения боем. Перед его глазами вдруг промелькнули разворачивающиеся на скаку артиллерийские запряжки, легкие пушки, бьющие прямой наводкой на картечь, хриплые крики команд, потные лица артиллеристов, падающие фигурки в чужих мундирах. Сейчас он был лишен этого. Единственный раз за войну, когда он испытал это близкое к прежнему чувство, были как-раз вчерашний и позавчерашний дни. Части армий перешли в наступление, и главный наблюдательный пункт был выброшен далеко вперед, на высокую скалистую, господствовавшую над местностью гору. На этот раз долг службы не только позволил, но и велел ему находиться там и в течение двух суток лично руководить огнем нескольких дивизионов. Это были дивизионы тяжелой армейской артиллерии. Они били далеко в тыл, по укреплениям и батареям. Но с горы было так далеко видно кругом, что в стеклах бинокля, правда, очень далеко, но все-таки металась разбежавшиеся немцы, падали лошади, взлетали обломки бревен.

По его наблюдательному пункту тоже была то одна, то другая немецкая батарея, и он корректировал огонь и боролся с ними, и чувство дуэли взволновало его, и голос, когда он подавал команды, стал хриплым не только от простуды и бессонницы, но и от охватившего его упоения боем.

Но то, что было вчера и позавчера, могло еще не скоро повториться. В этом отношении сын был счастливее его.

Полковник ни за что не признался бы в этом никому, даже своему комиссару, но себя он ругать не мог, да и не хотел. Профессия разведчика, которую выбрал его сын, была в глазах отца тревожной профессией. Сын не спрашивал его одобрения и правильно

сделал. Что отец мог ему ответить? Конечно, он одобрил бы. Больше того, если бы сын попросился работать к нему в штаб, он бы не только рассердился, но и сделал все, чтобы этого не случилось. Нет, у него не было презрения вообще к штабной работе, — это было бы глупо, — но его сын должен пройти всю ту дорогу, что прошел он сам, он не смел ничего миновать на этой дороге. А остаться при этом живым, это было дело сына, и только сына, — его это не касалось так же, как сына не должны были касаться те бессонные часы, которые отец проводил по ночам, когда разведывательные партии застреливали где-то в тылу на несколько суток и от них не было никаких известий, — вот так, как сейчас. В сущности, если говорить по совести, то причиной сегодняшней бессонницы был все-таки сын. От разведки уже несколько дней не было никаких известий, бушевала метель, и неизвестно, когда все это могло кончиться.

Полковник подбросил последнее полено и, присев на койку, стал снимать португую, собираясь все-таки заснуть. В дверь постучали.

— Войдите.

В землянку вошел командир разведывательного батальона капитан Сергеев. Он, видимо, только-что пришел и был еще в расстегнутой маскировочной куртке, с автоматом через плечи и без знаков различия.

— Что скажете?

— Сейчас, — сказал Сергеев и, со стуком поставив автомат на пол, опустился на койку комиссара.

Сергеев был молчаливым человеком, по его лицу видно было, что он смертельно устал и только-что пришел, на этот раз у него не было никаких заданий по артиллерии и приход его в этот час был неожидан и тревожен.

— Что скажете? — повторил полковник и, закулив папиросу, подвинулся на койке так, чтобы сидеть против Сергеева, глаза в глаза.

— Сейчас, — повторил Сергеев и медленно отодвинул от себя автомат, как будто он мешал ему начать разговор.

— Ранен? — спросил полковник.

— Нет, Андрей Петрович, — тихо сказал Сергеев. И не столько от выражения, с которым он сказал это слово «нет», сколько от того, что он в первый раз за всю войну назвал его ласково, как больного, по имени и отчеству, полковник понял, что осталось узнать только подробности смерти.

Когда Сергеев ушел, полковник лег на койку плашмя, лицом вверх, и попробовал думать. Но мысли не приходили, в голове вертелось только одно слово «Алеша», «Алеша», «Алеша», никогда не выговоренное им при жизни сына. «Алеша», повторял он и снова молчал, закрыв глаза, и снова открывал их и повторял без конца это слово. Но мысли все-таки не приходили, оставалось только горе, к которому, казалось, он столько раз готовил себя за долгие месяцы войны и все-таки не сумел подготовить. Чтобы хоть как-нибудь выйти из этого состояния, он стал вспоминать свой разговор с Сергеевым. Зачем он задал ему этот жалкий и ненужный вопрос: «Нет ли ему записки?» Конечно, нет. Разве Сергеев не отдал бы ему записки, если бы она была. Но почему же ее нет? Хотя бы два слова.

И вдруг, подумав об этой записке и о том, что ее нет, он представил себе во всех подробностях, как это произошло: и плащ-палатку на снегу, и перебитые ноги сына, и рукоятку нагана, и тот последний выстрел, который Сергеев услышал уходя, позади себя. Нет, записка была не нужна. Он бы тоже не писал записки. Снова перед его глазами прошла последняя дорога сына — скалы, по которым несли на плащ-палатке его неподвижное тело, камни, на которых он остался лежать, один, совсем один, или нет — вдвоем с наганом — последним спутником в жизни солдата. Он увидел его холодное тело и немцев, подошедших к нему. Немцев... Полчаса назад капитан Сергеев нарочно, словно желая утешить его в горе, долго вспоминал о всех разведках, в которые они ходили с его сыном, о гранатах, брошенных в блиндажи, о взорванных мостах, об убитых ими немецких офицерах. Нет, горе его

не уменьшалось от этого. Сын был единственным, и когда он умер, вместо него никого не осталось на свете. Но от мысли о том, что сын все-таки успел сам расплатиться за себя, горе оставалось горем, но не переходило в отчаяние.

Невольно он подумал о себе в эти дни, о метавшихся в бинокле солдатах, о падающих лошадях, летящих в воздух бревнах, и сейчас ему показалось, что в ожесточении боя, в котором он находился в последние дни, было предчувствие смерти сына, предчувствие мести, которая предстоит ему.

Ему почудилось, что в те минуты, охрипшим голосом командуя на наблюдательном пункте, он был рядом с сыном, и они вместе ломали все это, разрушали, убивали ненавистных ему людей.

Нет, ему было не легче. Но сейчас он понял, что отчаянье и безнадежность никогда не охватят его, что он попрежнему, несмотря на опустившееся на его плечи невероятное горе, все так же яростно хочет жить и воевать, главное, воевать.

Но мать? Что скажет она?.. Она не может своими руками задушить убийцу, она не может, как он, направить на них длинные, несущие смерть жерла пушек. Ей нельзя написать, что сын ее оставил последнюю пулю для себя. Ей нельзя сказать, что руки товарищей не могли опустить тело ее мальчика в могилу. Он понял, что горе его не пройдет ни завтра, ни послезавтра — никогда, и надо написать ей сейчас, вот тут же, за этим столом, не откладывая до завтра, потому что завтра это будет еще невозможнее, чем сегодня. Сейчас он напишет ей. Пусть она простит его за то, что он ей солжет.

Когда он кончил письмо, сумеречная незаметная весенняя ночь уже кончилась. Он вышел из землянки. За снежной бурей, за вершинами гор поднималось холодное солнце. С запада доносился тяжелый гул орудий. Он посмотрел на часы: да, ровно восемь. Это стреляли его пушки, начиналось артиллерийское наступление, — то самое, которое он наметил на восемь часов вче-

ра, когда он еще не знал, что у него уже нет сына.

Пушки начали точно в восемь, — так, как это и должно было быть. Война продолжалась.

III

Нет, это неверно, что она жила от письма до письма. Иногда ей так казалось, но все-таки это было неверно. Если бы здесь, в маленьком, глухом сибирском городке, мужа и сына ждала только она одна, а кругом никто бы не ждал своих мужей и сыновей, то тогда, при ее любви к ним, вся жизнь (она сознавала это) превратилась бы в мучительное ожидание. Но когда ждали все, кто были вокруг нее, — соседи, рядом с которыми она жила, товарищи, вместе с которыми она работала, и даже дети из третьего класса, которых она учила русскому языку и грамматике, — когда все кругом ждали, то это уже становилось жизнью, привычкой, само собой подразумевающейся. У нее не было той тоски, которая возникает у человека, когда он страдает один, а все окружающие не понимают его. Нет, ее очень хорошо понимали. И даже озорники-мальчишки с задних парт, с «камчатки», когда она несколько дней подряд приходила расстроенная, не получив очередного письма, детским чутьем угадывали это и шумели меньше, чем обычно. Дети всегда останутся детьми и, что бы ни случилось, они будут шуметь, шалить и смеяться, но какой-то отпечаток война наложила даже на них, — они почти все были разлучены с отцами, а некоторые и с матерями. И вместе с ней, со своей учительницей, они невольно чувствовали, что их общая судьба решается где-то там, очень далеко отсюда, и что есть какие-то люди, которые там воюют и умирают, а приезжают раненые, и их выгружают из закрытых автомобилей у третьей школы, которая давно уже не 3-я школа, а госпиталь. И все это, вместе взятое, называлось «армией», — словом, к которому дети относились с благоговением.

И Анна Петровна была горда, что в это понятие, которое так любят дети,

входят и двое самых близких ей людей — сын и муж.

За все дни войны самой большой радостью для нее было письмо мужа, в котором тот писал, что удовлетворили его ходатайство о том, чтобы сын был в той же армии, где он сам. С этого дня Анна Петровна считала, что муж и Алеша теперь вместе. Она так и говорила знакомым:

— Мне хорошо, они у меня вместе. Тогда ведь не так страшно, верно?

По молчаливому уговору и отец, и сын, часто находясь очень далеко друг от друга, отправляя ей письма, всегда писали в конце: «Отец тебя целует», или «Алексей посылает тебе привет». И от этого ей еще больше казалось, что они сидят где-то рядом и муж пишет письмо, а Алешка (он всегда был такой ленивый) вместо того, чтобы тут же написать, только говорит отцу: «Припиши там привет маме от меня».

Своего мужа она всегда, и в молодости и сейчас, знала большим, спокойным, суровым человеком. Он всегда на ее памяти был начальником над многими людьми. Он воспитывал Алешу, он заботился о нем, и ей казалось сейчас, что там, на войне, он, такой большой и сильный, попрежнему в состоянии опекать Алешу и защищать его от всяких опасностей.

Она по-старинке, как в детстве, была сейчас почти спокойна за сына: в ее представлении он был под защитой отца.

И, должно быть, поэтому все ее главные тревоги сосредоточились на муже. Когда долго не писал Алеша, она думала про себя: «Опять этот лентяй не написал», и немножко сердилась, но когда задерживалось письмо мужа, она быстро начинала тревожиться.

Так было и сейчас.

Она возвращалась к себе домой из школы очень усталая. Сегодня был тяжелый день. Петя Гридасов — десятилетний белокурый шалун и зачинщик школьных историй, — пришел с утра в класс притихший и вдруг, уронив голову на парту, разрыдался посередине последнего урока: оказалось, что в его семье утром получили известие о смер-

ти старшего брата. Ей пришлось ответить после уроков мальчика домой и долго утешать его мать, Марию Никаноровну, а потом пригласить ее к себе вечером выпить чаю, потому что ей казалось, что она ее недостаточно утешила и что нужно непременно сказать сегодня же вечером что-то такое, отчего ей стало бы хоть немного легче.

Анна Петровна торопилась домой, потому что надо было успеть после обеда наколоть лучины и поставить самовар и прогладить чистую скатертку, — словом, сделать все необходимые для приема гостей приготовления.

Она шла через город. Была весна: деревья начали зеленеть, и она, вспомнив, как долго не было письма от мужа, подумала, что интересно было бы знать, какая сейчас там погода у них, на севере, наверное, еще снег и ночи совсем нет, все время светло. Она несколько раз в письмах просила, чтобы они описали ей природу, среди которой находятся, погоду, — словом, все, что было вокруг них, ей было это очень интересно знать. Но они почему-то упорно не исполняли ее просьбы, может быть, им было не до этого, а может быть, просто потому, что они мужчины, а мужчины не любят писать о таких вещах.

Письмо лежало у нее под дверью, засунутое туда ушедшей хозяйкой квартиры. Она подняла его, тихонько взвесила в руке, — письмо было толстое, большое, — и положила на стол. Потом она неторопливо сняла пальто, удобно пододвинула к столу кресло, достала очки. Она никогда не отказывала себе в удовольствии немножко помучить себя перед чтением письма, подготовиться к этому и потом читать, уже не отвлекаясь, не думая больше ни о чем. А сегодня письмо было большое, и удовольствие предстояло длинное — больше, чем обычно.

Письмо начиналось, как всегда: «Дорогая моя...» Муж всегда все письма начинал этой фразой, всю жизнь, даже еще тогда, в 1920 году, когда они только-что поженились. «Дорогая моя...»

Но дальше?

Она прочла письмо до конца и, от-

толкнув от себя руками, словно боясь снова коснуться его, шатаясь дошла до кровати. Потом она поняла: наверное, с ней был обморок, у нее всегда было плохое сердце.

Она очнулась, лежа на кровати. В комнате было все так же тихо. Она села и с какой-то непонятной надеждой взглянула на стол: ей на секунду помешалось, что ничего этого не было, что там нет никакого письма, что все это ей показалось. Письмо попрежнему лежало на столе, — там, где она его оставила. Тогда она снова подошла к столу, снова села и, преодолевая в себе боязнь опять дотронуться до этих листов бумаги, взялась за письмо. Но когда она снова прочла знакомую первую строчку «Дорогая моя...», оказалось, что письмо перечитывать не нужно, что все остальное, что там написано, уже стояло в ее памяти, слово за словом, — так, как они были написаны в строчках. И она поняла, что может прожить еще тридцать лет, стать глубокой старухой, а это письмо вот так же, слово за словом и строчка за строчкой, никуда не уйдет из памяти и будет все так же стоять перед ее глазами, куда бы она его ни спрятала.

Она не помнила, плакала она или нет, наверное, плакала... Никто этого не слышал, в квартире было пусто, все ушли.

Муж написал ей, что Алеша погиб в бою, сражаясь до последнего патрона рядом со своими товарищами, и что он был молодцом, и что он дорого продал свою жизнь. Она вспомнила это место письма и машинально говорила: «Да, да. Хорошо... хорошо... Конечно...» Но она плохо представляла себе все это, хотя для отца, наверное, было очень важно, что это случилось именно так, а не иначе, — наверное, очень важно, потому что он так подробно написал об этом. Но она видела только лицо сына, его волосы, его руки, его такое знакомое тело, которое сначала было маленьким, потом стало большим, но которое для нее никогда не менялось, с первого дня. Она вдруг подумала о том, куда его ранили, где была эта рана — наверное, страшная, много крови. Неужели на его

лице, на лбу, который она так часто гладила и целовала? Но ведь отец написал, что пуля попала ему прямо в сердце, в грудь. Это, наверное, лучше так, сразу. Но когда она подумала о том, куда попала пуля, она почему-то вспомнила его тело совсем маленьким, ребячьим, и ей показалось, что большие, подлые люди убили ее ребенка, совсем маленького ребенка.

Потом она вспомнила другое место письма, — то, где муж писал, как Алешу хоронили товарищи, как несли его гроб, обложенный зелеными ветвями елок, как давали салют из ружей и какое у него в гробу было хорошее, ясное лицо, совсем, как у живого.

«Совсем, как у живого» — эту фразу она повторила несколько раз. Это хорошо, что совсем, как у живого. И елки зеленые кругом лица — это тоже хорошо.

И она опять заплакала, уронив на стол свою седую голову.

Когда она через час заставила себя немного успокоиться, ею вдруг овладели мысли о муже. Она знала, что он, как и все мужчины, совсем не такой сильный, как это кажется другим и ему самому. Самой сильной в доме она считала себя. Она была всегда тихой, иногда даже робкой, она редко спорила с ним, он считал своим долгом утешать ее и поддерживать, но когда, еще в 1920 году, умер их первый сын, ведь не он ее, а она его поддерживала. Тогда он плакал, опустив свою большую голову к ней на колени, и она его утешала. Она — женщина, она вынесла много горя в жизни, но такие, как она, могут гнаться, гнаться и никогда не сломаются. А вот он... такие, как он, большие и сильные с виду, могут сломиться вдруг. Но она должна ему помочь. Может быть, поехать туда или сделать что-то такое, чтобы ему было все-таки легче, потому что ведь даже сам Алеша не знал (знала только она), как любил его отец. И она попробовала вспомнить, чем же она тогда, когда умер их первый сын, утешала мужа? И вдруг с ужасом вспомнила, что главным утешением тогда для него были ее слова, что у них будет, непременно будет еще сын, вот этот самый,

которого теперь нет... Она вспомнила, что ей сейчас сорок пять лет и что она не может ему сейчас сказать того, что сказала тогда, не может и не скажет. У них не будет больше сына, у них никогда больше не будет сына.

Тогда она попробовала представить себе их дальнейшую жизнь без сына. И ей показалось, что все-таки ей самой будет легче, чем мужу. Она любит мужа больше и сильнее, чем он ее, — она это знает, — она перенесет всю свою нежность на него, она будет заботиться о нем, как о маленьком ребенке, она сделает все, чтобы он реже вспоминал, чтобы он реже думал об этом. Она будет его утешать. У нее будет очень много дела в жизни; она, наверное, несколько лет подряд должна будет спасать его от отчаянья, и именно поэтому ей будет легче, чем ему. Но она что-то придумает... она еще не знает, но что-то придумает такое, чтобы ему было легче.

Когда постучали в дверь, она сразу вспомнила, что это Мария Никаноровна, которую она позвала пить чай для того, чтобы утешить ее. Все-таки у нее был еще один сын.

Она открыла дверь. В эту минуту у нее были уже сухие глаза и руки больше не дрожали. Она открыла дверь и, пригласив Марию Никаноровну войти, извинившись, что задержалась и не приготовила чай, стала возиться с самоваром. Потом они долго сидели друг против друга за столом, и она утешала Марию Никаноровну в ее горе, не упоминая ей о своем. Ей было так легче. Ей казалось, что вот так же, не упоминая о своем горе, она сможет разговаривать с мужем, вот так же, отрекшись от своих собственных чувств, утешать его.

В ее материнском сердце, как это всегда бывает с материнским сердцем, рядом с болью о мертвом уже возникала забота о живом.

Утром, как всегда, ровно в девять часов она вошла в класс.

Она чувствовала, что ей сегодня будет трудно владеть своим голосом в течение всего урока, и поэтому, быстро задав сочинение, она сделала вид, что просматривает классный журнал, а на

самом деле отдалась своим невеселым мыслям.

Ей было одиноко, так одиноко, как никогда в жизни. Всю свою долгую жизнь она умела только любить; она любила мужа и сына, любила детей, с которыми занималась в школе.

И вдруг за одну бессонную мучительную ночь она научилась ненавидеть. И эта ненависть сейчас мучила ее, потому что она чувствовала себя бессильной, потому что у нее были слабые руки, неспособные мстить убийцам. Она невольно, может быть, в первый раз в жизни, сжала эти руки в кулаки и, чтобы спрятать свое побледневшее, сухое, без слез, лицо, нагнулась над столом.

Но привычка старой учительницы смотреть за тем, что делается в классе, была сильнее ее. Через несколько минут, подняв голову, она невольно оглядела класс.

И вдруг эти вихрастые белокурые и темные мальчишеские головы напомнили ей о тех поколениях мальчишек, которые прошли через ее руки, которые писали свои каракули у нее во втором, в третьем, в четвертом классе, которые потом,

через много лет, заезжали к ней совсем взрослые, иногда усатые, говорящие басом, и обнимали ее нежно и осторожно, потому что они стали большими и сильными, а она осталась все такой же маленькой. Им было сейчас по 20, по 25, некоторым по 30.

И вдруг она подумала, что эти ее мальчики сейчас все, или почти все, воюют. Если бы она могла им всем сразу крикнуть сейчас, что у их старой учительницы убили сына, что она несчастна, что она просит у них — не помощи, нет, — а мести! О, как бы они отомстили за нее, эти дети, ставшие мужчинами!

Но разве они не мстят?

Перед ее глазами промелькнули дымные поля сражений, красные языки взрывов, танки, ползущие через ломающиеся леса, — все, что она никогда не видала, но сейчас увидела сразу, со всей силой женского прозрения.

И всюду, на севере и на юге, — везде, где только шла война, по этим дымным полям шли ее дети, ее мальчики, в железных касках, — неузнаваемые, суровые, мстящие за нее.

ПЕРЕД БОЕМ

СТЕПАН ШИПАЧЕВ



Савве Говбергу

На землянках прошлогодних
Прошлогодняя листва.
Дождик льет и льет сегодня.
Мокнет смятая трава.
Под ветвями мокнут танки
На исходном рубеже,
И вода в консервной банке
Плещется на блиндаже.
Ручейки текут с орудий
По брезентовым чехлам.
Кто не трус — увидят люди
И оценят по делам.
Тяжела ты, фронтовая
Грязь на мокрых сапогах,
Но живем, не унывая,
Каждой ночью в блиндажах
Наступленья ждем к рассвету,
Штыковой атаки ждем.
Нам никто не даст победу,
Если силой не возьмем.

Северо-Западный фронт.



Нашествие

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

Пьеса в 4-х действиях

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Таланов Иван Тихонович, врач
Анна Николаевна, его жена
Федор, их сын
Ольга, их дочь
Демидьевна, свой человек в доме
Аниска, внучка ее
Колесников, предрайисполкома
Фаюнин Николай Сергеевич, из мертвецов
Кокорышкин Семен Ильич, восходящая звезда
Егоров
Татаров

люди из группы Андрея

Мосальский, бывший русский
Виббель, комендант города
Шпурре, дракон из гестапо
Кунц, адъютант Виббеля
Старик
Мальчик Прокофий
Паренек в шинелке
Партизаны, офицеры, женщина в мужском пальто, офицант сумасшедший, солдаты конвоя и другие.

Действие происходит в маленьком русском городе, в наши дни.

★

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Низенькая комната в старинном каменном доме. Это квартира доктора Таланова, обставленная по моде начала века, когда доктор лишь начинал свою деятельность. Влево двустворчатая дверь в соседние комнаты, с матовыми стеклами до пояса. Простая девичья кровать и туалетный столик отгорожены ширмой в углу. Уйма фотографий в рамках, и над всеми главенствует одна — огромный портрет худенького большелобого мальчика в матроске. В широком среднем окне видна черная улица провинциального русского городка с колокольней вдали, на бугре. Сумерки. Анна Николаевна дописывает письмо на краешке стола; на другом его конце Демидьевна собирает обед.

Демидьевна. А ночью тараканы с кухни ушли.

(Нетерпеливый жест Анны Николаевны.)

От немца бегут. Послушала бы на улице-то.

Анна Николаевна. И все-то ты в дом тащишь. То подкову битую, то слух поганый.

(Стучат в дверь.)

Демидьевна. Войди. Кто еще там ломится?

Кокорышкин (просунув голову). Это я, извиняюсь, Кокорышкин. Нигде Ивана Тихоновича застать не могу.

Анна Николаевна. У него операционный день сегодня. Скоро вернется. Пройдите, подождите.

Кокорышкин. Ничего, я тут-с.

(И дверь закрылась.)

Анна Николаевна. Кокорышкин!.. Чудак какой!

(Она идет за ним и приводит его, упирающегося. Это подслеповатый, неопределенного возраста человек в пальтишке с чужого плеча.)

Кокорышкин. Тогда уж дозвольте не раздеваться, в домашнем виде я. Мне и дела-то — только бумаги подписать.

Демидьевна. Приткнись и не мешай. Письмо Федору Ивановичу пишем.

(Кокорышкин сел, кашлянул разок и вамер с папкой на коленях.)

Точно с ума повскакали. Боровков всем домом укатил. Наверху тетка сидит, самовар держит. Уезжают люди-то.

Анна Николаевна. Никто куда не уезжает. Спроси, вон, Кокорышкина, он все знает.

Кокорышкин (привстав). Точно. Уезжают-с.

Анна Николаевна. Сейчас звонил Колесников и ничего не сказал. А уж ему-то, как председателю райисполкома, было бы известно.

Кокорышкин. И он уедет-с.

Анна Николаевна. И пускай едут. (Склоняясь над письмом.) И перестань бубнить, Демидьевна.

Демидьевна. Мне бубнить нечего... а вещи закопать, пока земля не задубенела, это всякий скажет. (Кокорышкину.) У Аниски три рубахи исподних забрали. Ленточка сверху лежала, стираная, косу заплетать... и на ту польстились.

Кокорышкин. Это которая же Аниска?

Демидьевна. Внучка даве из Ломтева, от немцев, прибежала. За сорок верст пешком маханула. Значит, сладко!

(Кокорышкин сочувственно почмокал и снова замер.)

Еле чаем отпиола, дрожма девка дрожит. Сейчас за сахаром послала постоять. Уж такова-то ласкова у меня: все баушка да баушка... (Анне Николаевне.) Я ее на сундучке пристроила.

Она и полы нам помоеет, я постирает что.

Анна Николаевна. Конечно, пускай отдохнет. (Закончив письмо.) Ломтево! Там Иван Тихонович работу начинал, Федя родился, на каникулы туда приезжал. Как все обернулось!

Демидьевна. Пиши, пиши, обливай его материнскими слезами. (С сердцем взглянув на портрет мальчика.) Может, хоть открыточку пришлет!

Анна Николаевна (заклеивая конверт). Последнее! Если и на это не откликнется, бог с ним. (Стеснительно, сквозь полуслезы.) Извините нас. Мы к вам так привыкли, Кокорышкин.

Кокорышкин. Сердечно понимаю. (С чувством.) Хотя сам по состоянию здоровья детей не имел... однако в мыслях моих всем владал и, наслаждаясь, простился. (Коснувшись глаз украдкой.) Не встречал я их у вас, Федора-то Иваныча.

Анна Николаевна. Он в отъезде... Закрывай окна, Демидьевна, скоро самолеты полетят.

Кокорышкин. И давно они в этом самом... в отъезде?

Анна Николаевна. Три года уже... и восемь дней. Сегодня девятый пошел.

Демидьевна. Незадачник он у нас.

Анна Николаевна. Он вообще был хилого здоровья. Только нянька его и выходила. А добрый, только горячий очень был... (Поднявшись.) Кажется, Иван Тихонович вернулся.

(Демидьевна закрыла окна фанерными щитами и включила свет. С портфелем, в осеннем пальто и простенькой шляпке вернулась с работы Ольга. Минуту она, шурясь, смотрит на лампу, потом произносит тихо: «Добрый вечер, мама», и проходит за ширму. Раздевшись, она бездумно стоит, закинув руки к затылку.)

Разогреть тебе или отца с обедом пождешь?

Ольга. Спасибо, я в школе завтракала.

Анна Николаевна (заглянув к ней). Ты чем-то расстроена, Оленька?

Ольга. Нет, тебе показалось. (Достав из портфеля кипу тетрадей.) Уста-

ла, а надо еще, вот, контрольную просмотреть.

Анна Николаевна. А почему Оленька в глаза не смотрит?

Ольга. Так. Давеча войска мимо школы шли. Молча. Отступление. Ребята сидели присмирившие. И сразу как-то пусто стало... даже собаки затихли. (Очень строго.) На фронте плохо, мама.

Анна Николаевна. Когда же... случилось-то?

Ольга. Прошлой ночью. Они ударили танками в обход Пыжовского узла и вышли клином на Медведиху. К Колесникову по дороге забежала: бумаги жгут.

Кокорышкин. Копоть везде летает, точно черный снег идет. Тяжелое зрелище!

Ольга. Простите, я вас и не заметила, Кокорышкин.

Кокорышкин (жестко). Их бы теперь проволокой окружить да артиллерией всех и уничтожить.

Ольга. Легко нам, в тылу, судить о войне. А там...

Анна Николаевна. А еще что случилось, Оленька?

(Та молчит.)

Вы не обедали, Кокорышкин? Идите на кухню. (В дверь.) Демидьевна, покорми Кокорышкина.

Кокорышкин. Балуете, растолстею я у вас, Анна Николаевна.

(Он уходит. Мать выжидательно смотрит на дочь.)

Ольга. Только не пугайся, мамочка... он жив и здоров. И все хорошо. Я сейчас Федю видела.

Анна Николаевна. Где, где?

Ольга. На площади... Лужа большая, и рябь по ней бежит. А он стоит на мостках, нащурился во тьму, один...

Анна Николаевна. Рваный, верно, страшный, в опорках... да?

Ольга. Нет... похудел очень. Я только по кашлю его и признала.

Анна Николаевна. Давно приехал-то?

Ольга. Я не подошла, я из ворот смотрела. Потом домой кинулась, предупредить.

Анна Николаевна. Что же мы стоим-то здесь... Демидьевна, Демидьевна!

(Демидьевна вбежала.)

Демидьевна, Федя приехал. Соберай на стол да настоечки достань из буфета. Уж, верно, выпьет с холоду-то. Дайте мне одеть что-нибудь, я сбегая. А то закатится опять на тыщу лет...

Демидьевна. Коротка у тебя память на сыновнюю обиду, Анна Николаевна.

Ольга (за руки удержав мать). Никуда ты не побежишь. Мы предупредили его об этой женщине. Он сам ушел от нас, пусть сам и вернется. (Слушая тишину.) Кто-то у нас в чулане ходит.

(Они прислушиваются. Жестяной дребезжащий звук.)

Корыто плечом задел. Верно, больной к отцу, впотьмах заблудился.

Демидьевна (шагнув к приложке). Опять двери у нас не заперты.

Анна Николаевна. Ступай, я запрю.

(Она уходит и тотчас же слышен слабый стонущий вскрик. Так может только мать. Затем появляется снисходительный мужской басок: «Ладно, перестань хныкать, мать. Руки-ноги на местах, голова подмышкой, все в порядке!»)

Демидьевна. Дождалась мать светлого праздничка.

(На пороге мать и сын; такая маленькая сейчас, она придерживает его локоть, — тому это явно неприятно. Федор — высокий, с большим, как у отца, лбом; настороженная дерзость посверкивает в глубоко запавших глазах. К нему не идут эти франтовские, ниточкой, усики. Кожаное пальто отвердело от времени, плечо испачкано мелом, сапоги в грязи. В зубзат дымитса папироска.)

Федор (избавившись от цепких рук матери). Здравствуй, сестра. Руку-то не побрезгуешь протянуть?

Ольга (неуверенно двинувшись к нему). Федор! Федька, милый...

(Смущенный ее порывом, он отступил.)

Федор. Я, знаешь, простудился... в дороге. Не торопись.

(И вдруг яростный приступ кашля потряс его. Папироска выпала на пол. Ольга растерянно подняла ее в пепельницу. Он приложил ко рту платок и привычно спрятал его в рукав.)

Вот видишь, какой стал...

Анна Николаевна. У печки-то погрейся, Феденька. У нас печка горячая. Стаскивай кожу-то свою. Давай, я ее повешу.

Федор. Ладно, я сам. *(Нетерпеливей)*. Пусти же, я сказал.

(Она стала еще меньше, попятилась. Он ставит пальто торчком у двери на полу.)

Не по чину на вешалку-то, постоит и так. *(Пригрозив пальцем, как собаке.)* Стоять! *(И только теперь, вместо приветствия.)* А, постарела, нянька. Не скувырнулась еще?

(Ни один мускул не шевельнулся на лице Демидьевны.)

Анна Николаевна. Оля, ты займи Федора... я пока закусочку приготавливаю. *(Федору, робко.)* Без ужина не спустим тебя.

Ольга. Демидьевна приготовит, мама.

Демидьевна. Не трожь, дай ей руки-то чем-нибудь занять.

(Анна Николаевна торопится убежать. Губы ее закушены.)

Ольга. Кажется, любовь к женщине, в которую ты стрелял, поглотила все в тебе, Федор. Даже нежность к матери. Ведь ты бы мог и помягче с нею. Она хорошая у нас. Она консерваторию для нас с тобой бросила, а какую ей карьеру пророчили!

Федор. Неловко мне, не понимаешь? Три дня по улицам шлялся, боялся войти, только бы этого... надгробного рыдания не слышать. *(Он обходит комнату, с любопытством трогая знакомые вещи.)* Все то же, на тех же местах... узнаю... *(Открыл пианино, тронул клавишу.)* Мать еще играет?

Ольга. Редко. Ты даже не написал ей ни разу. Стыдился?

Федор. Нет, так. Занят был. *(Он взглянул на портрет; на мгновенье поза его совпадает с позой мальчика на портрете.)* Все мы бываем ребенками, и вот что из ребенков получается. *(Не оглядываясь, няньке, через плечо.)* Ты чего, старая, уставилась? Даже в спине загорелось.

Демидьевна. Любуюсь, Феденька. Больно хорош ты стал!

Ольга. Срок твой кончился? Ты, значит, вчистую вышел?

Федор. Нет, я не беглый... не бойся, не подведу.

Ольга *(обиженно)*. Ты зря понял меня так. Посиди с ним, Демидьевна. я пойду маме помочь. *(Уходит, опустив голову.)*

Демидьевна. Ну, всех разогнал. Теперча, видать, мой черед. Давай, поиграемся, расправь жилочки-то...

(Она садится на стул, посреди, поплотнее. Робя перед ней, Федор одергивает слишком короткие ему рукава пиджака.)

Похвастайся няньке, как ты бабеночку зашиб за то, что красоты такой не оценила.

(Он быстро и зло взглянул на нее.)

Глазом-то не замахвайся. Береги силу. Скоро папаша придут.

Федор. Ладно, нянька, ладно. Уймись.

Демидьевна. Уж тайком-то и богу намекала, прибрал бы тебя от греха, скорбного да бесталанного... ая нет! *(Сурово усмехнувшись.)* И ведь что: в ту-пору ж пальто семисезонное племяннику обыденкой у бога вымзалила. А про тебя не дошла до уха божия моя молитва.

(Федор слушает стоя, опершись в письмо на столе. Бумага хрустит под его ладонью.)

Люди жизни не щадят, с горем бьются. А ты все в сердце свое черствее глядишь. Что делать-от собрался?

Федор *(глядя на пол)*. Не знаю. Жить по-старому я больше не могу.

Демидьевна. Совесть заговорила... аль шея еще болит?

Федор *(слабаясь)*. Не надо, нянька. Проздрог я от жизни моей.

Демидьевна. То-то, продрог. Тебе бы, горький ты мой, самую какую ни есть шинелишку солдатскую. Она шибче тысячных бобров греет. Да в самый огонь-то с головой, по маковку!

Федор. Не возьмут меня. *(Тихо и оглянувшись.)* Грудь плохая у меня.

Демидьевна. А ты попытайся, пробейся, поклонись.

(Заглянула Аниска; ей лет пятнадцать, на ней цветастое платьице и толстые полосатые шерстяные чулки. Она робеет при виде незнакомого человека.)

Входи, девка, не робей. Мы тут не рогатые.

Аниска. Я, баушка, сахарок принесла.

Демидьевна. Положь на буфет, умница. Носом не шмыгай, сапогами не грохай, люди смотрят.

(Благоговейно, на цыпочках и в вытянутых руках Аниска относит пакетик. У ней так светятся глаза и горят с холоду щеки, такая пугливая свежесть сквозит в движеньях, что нельзя смотреть на нее без улыбки. Лицо Федора смягчается.)

Не признаешь?

Федор. Важная краля. Кто такая?

Демидьевна. А, помнишь, кубарик такой по двору в Ломтевке катался, спать тебе не давал? Она, Аниска. Ишь, вытянулась. От немцев убежала. (Аниске.) Поздоровкайся, это Федор Иваныч, сын хозяйский. Он из путешествия воротился.

(Аниска кланяется, облизывая губы. Федор недвижим.)

Федор. Чего смеешься, курносая?

Аниска. Это я не смеюсь. Это у меня лицо такое.

Демидьевна. Ты поговори с ней, она у меня на язык-то бойкая.

Федор (не зная, о чем спросить).

Ну, как немцы-то у вас там?

Аниска. А чево им! Ничево, живут.

Федор. В разговоре-то они как, обходительные?

Аниска. Ничево, в общем, обходительные. Что и взять надоть — все на иностранном языке.

Федор (Демидьевне). Все ребята в Ломтеве приятели мне были. У длинного-то Табакова поди уж и дети. Много у него?

Аниска. Трое, меньшенькому годок. (Оживясь, Демидьевне.) Забыла тебе сказать-то, баушка... Как повели его с Табачихой на виселку, шавочка ихняя немца за руку и укуси. Аккуратенька-такá была у их собачка. Так они и шавочку рядом с хозяйкой вздернули... (Содрогнувшись, как от овноба.) Видать, уж и собаки воют.

Федор (угрюмо). Та-ак. А Статов Петр?

Аниска. Этот с первочасья в леса ушел. В банке попарился напоследок,

и баньку спалил. И парнишечку увел с собой, из шестого класса. Прошкой звать.

(Федор улыбнулся на ее певучие интонации. Аниска сердится.)

А ты чево смеешься, путешественник?

Федор. Так, смотрю на тебя: смешная. Кабы все люди такие были!

(Ольга, приотворив дверь, произносит одно лишь слово: «Отец». Все приходит в движение. Демидьевна отставляет стул, Аниска исчезает. Заметно волнуясь, Федор направляет вовнутрь концы серенького шарфа, которым обмотана шея.)

Демидьевна. Не лай отца-то. Дай ему покричать на себя, непоклонный.

(Федор отходит к окну. Вступает Таланов, — маленький, бритый, стремительный. Кажется, он не знает о возвращении сына.)

Таланов. Обедать не буду. Чаю в кабинет, погуше. Демидьевна, пришей же мне, милочка, вешалку, наконец. Третий день прощу. (Заметив сына и тоном, точно видел его еще вчера.) А, Федор! Вернулся в отчий дом. Отлично.

(Федор собирается ответить, — ему мешают глухой, мучительный кашель. Склонив голову набок, Таланов почти профессионально слушает и ждет окончания припадка.)

Отлично...

(Демидьевна унесла шубу, Федор спрятал платок.)

Давно в городе?

Федор. Вчера. (И заученно, точно заготовил раньше.) Я доставил тебе с матерью неприятности. Извини.

Таланов. Мы тоже виноваты, Федор. Ты был первенец. Мы слишком берегли тебя от несчастий... и ты решил, что все только для тебя в этом мире.

(Федор покривился при этом.)

Эта женщина... умерла?

Федор. Нет. Я хотел и себя, но не успел.

Таланов. За что же ты ее... так?

Федор. Я любил ее. Зря.

Таланов. А теперь?

(Федор молчит.)

Приехал отдохнуть? Что ж, поживи, осмотришься.

Федор. Спасибо, нет. Все будут смотреть, учить. Я пришел к тебе на прием, как к врачу.

Таланов. Отлично. Только, брат, я вечерами плохо видеть стал. Садись к свету, хочу рассмотреть тебя.

(Послушно и даже приподняв край матерчатого абажура, Федор садится у лампы. Свет искоса падает ему на лоб. Опершись в руку Федора, брошенную на столе, Таланов смотрит в лицо сына. Федор выдергивает руку.)

Федор. Ну, поставил... диагноз?

Таланов. Да. Кашель твой мне не нравится... и этот глянцауген, и руки твои — влажные, горячие.

Федор. Это все пустяки. Я другое имел в виду.

Таланов. И другое. Ты растерян. Резкость твоя от смущенья. И эти усики тоже. Ты ищешь выхода. Это уже хорошо. (Так говорят с провинившимся ребенком.) Оглянись, Федя. Горе-то какое ползет на нашу землю. Много-страдальная русская баба плачет у лесного огнища... и детишечки при ей, пропахшие дымом пожарищ, который никогда не выветрится с их душ. Знаешь, сколько этих подбитых цыпляток прошло через мои руки? Вчера, например... (Он махнул рукой.) Э, боль и гнев туманят голову, боль и гнев. А болезнь твоя излечима, Федор.

Федор. Тем лучше. Садись, сочиняй рецепт.

Таланов. Он уже написан, Федор. Это — справедливость к людям.

Федор. Справедливость? (Возгораясь темным огоньком.) А к тебе, к тебе самому справедливы они, которых ты лечил тридцать лет? Это ты первый, еще до знаменитостей, стал делать операции на сердце. Это ты, на свои кровные копейки, зачинал поликлинику. Это ты стал принадлежностью города, коммунальным инвентарем, как его пожарная труба...

Таланов (слушая с полузакрытыми глазами). Отлично сказано, продолжай.

Федор. И, вот, нибелунги движутся на восток, ломая все. Людишки бегут, людишки отрезки вывозят и теток глухонемых. Так что же они тебя-то забыли, старый лекарь, а? Выдь, встань на перекрестке, ухватись за сундук с чужим барахлом: авось, подсадят. (И зашелся

в кашле.) Э, все клокочет там... и горит, горит.

Таланов. Не то плохо, что горит, а что дурной огонь тебя сжигает.

(Ольга приоткрыла дверь.)

Не мешай нам, Ольга.

Ольга. Папа, извини... там Колесников приехал. Ему непременно нужно видеть тебя.

Таланов (с досадой). Да, он звонил мне в поликлинику. Проси. (Сыну.) У меня с ним минутный разговор. Ты покури в уголке.

Федор. Мне не хотелось бы встретиться с ним. Черный ход у вас не забит?

Ольга. Зайди пока за ширму. Он спешит, это недолго.

(Федор отправляется за ширму. Ольга открыла дверь.)

Папа просит вас зайти, товарищ Колесников.

(Тот входит в меховой куртке и уже с кобурой на пояском ремне. Он тоже лобаст, высок и чем-то похож на Федора, который из-за ширмы слушает последующий разговор.)

Колесников. Я за вами, Иван Тихонович. Машина у ворот, два обещанных места свободны. (Ища глазами.) У вас много набралось вещей?

Таланов. Я не изменил решения. Я никуда не еду, милый Колесников. Здесь я буду нужнее.

Колесников. Я знал, что вы это скажете, Иван Тихонович.

Ольга (тихо, ни на кого не глядя). Времени в обрез. Небо ясное, скоро будет налет.

Таланов (Колесникову). Торопитесь, не успеете мост проскочить. Ну... прощаемся!

(Колесников не протянул руки ему в ответ.)

Вы ведь тоже уезжаете?

Колесников (помедлив). Нас никто не слышит... Из соседней квартиры?

Таланов. У нас булочная по соседству.

(Ольга хочет уйти.)

Колесников. Вы не мешаете нам, Ольга. (Таланову). Дело в том, что... сам я задержусь в городе... на некото-

рое время. Я член партии и, пока я жив...

Таланов. Вот видите! (В тон ему.) Я тоже не тюк с мануфактурой и не произведение искусства. Я родился в этом городе. Я стал его принадлежностью... (для Федора) как его пожарная труба. И в степени этой необходимости вижу особую честь для себя. За эти тридцать с лишком лет я полгорода принял на свои руки во время родов...

Колесников (улыбнувшись.) И меня!

Таланов. И вас. Я помню время, когда ваш отец был дворником у покойного купца Фаюнина. (Иронически.) Постарели с тех пор, доложу вам. Мало на лыжах ходите.

Колесников (взглянув на Ольгу). Ну, теперь будет время и на лыжах походить.

(Федор задел гребень Ольги на столике. Вещь упала. Колесников насторожился.)

Нас кто-то слушает там... Иван Тихонович.

Таланов. Нет... никто.

(Колесников заметил пальто Федора и молча поднял глаза на Таланова. В ту же минуту Федор выступает из-за ширмы.)

Федор. Никто — это, повидимому, я. Как говорится в романах, из стены вышел призрак средних лет. Гутен абенд, бояре!

Таланов (смущенно). Вы не знакомы? Это Федор. Сын.

Федор. Когда-то мы встречались с гражданином Колесниковым. В детстве даже дрались не раз. Припоминаете?

Колесников. Это правда. У нас в ремесленном не любили гимназистов. (С упреком Таланову.) Не понимаю только... что дурного в том, что сын... после долгой разлуки... навестил отца!

Федор. Ну, во-первых, сынок-то меченый. Тавро-с! А во-вторых — прифронтная полоса. Может, он без пропуска за сто километров с поезда-то сошел да эдак болотишками сюда... с тайными целями пробирался?

Ольга. Чем ты дразнишь нас, Федор, чем!

Колесников. Вы напрасно черните себя. Вы споткнулись, правда... но если вас выпустили, значит, общество снова доверяет вам.

Федор. Так полагаете? Ага. Тогда... Вот вы обронули давеча... что остаетесь в городе. Разумеется, с группкой верных людей. Как говорится, — добро пожаловать, немецкие друзья, на русскую рога-тину. Пиф-паф! Так вот, не хотите ли взять к себе в отряд одного такого... исправившегося человека? Правда, у него нет солидных рекомендаций, но... (твердо и в глаза) он будет выполнять все. И смерти он не боится: он с нею три года в обнимку спал.

(Неловкое молчание.)

Не подходит?

Колесников. Я остаюсь только до завтра. Я тоже покидаю город.

Федор. Понятно. (Поглаживая усики.) Не потому ли так настойчиво и рекомендуете папаше драпануть отсюда?

Таланов. Я прошу тебя быть вежливым с моими друзьями, Федор.

Колесников. Я отвечу ему. Иван Тихонович безраздельно подарил себя людям. К нему ездят даже из соседних районов. Нам хотелось избавить его от опасностей. К тому же здесь будет довольно шумно, начнут оживать всякие мертвецы. Уже и теперь выссовываются из подполья змеинные головки.

Федор. Значит, сестре моей, например, полезен этот шум?

Ольга. Я остаюсь со школой, Федор.

Федор (руки в карманах и покачиваясь). А не проще? Немцам потребуются видные фигуры для разных должностей...

Ольга (с намеком, резко). Боюсь, что они уже нашли их, Федор.

Колесников. Кончайте вашу мысль. Меня мать ждет в машине.

Федор. А не опасаетесь ли вы, что папаша здесь глупостей без вашего призора натворит?

Колесников. Вы озлоблены, во в вашем несчастье повинны только вы. Кроме того, мне некогда вникать в ва-

ши душевные переливы. В другой раз. До свиданья, Иван Тихонович!

(Они обнялись. Колесников перевел взгляд на Ольгу.)

Ольга (тихо). Я провожу вас до машины.

Колесников. (Федору). От души желаю вам найти себе место в жизни.

Федор (фальцетом). Мерси-и.

(Ольга выходит вслед за Колесниковым.)

Таланов. Догони и извинись, Федор.

Федор. Доктор Таланов никогда не сек своих детей. С годами его взгляды на воспитание изменились?

(Таланов устало полузакрывает глаза. Вернулась Ольга. Она зябко охватила руками плечи.)

Ольга. Звезды, звезды... И, кажется, уже летят.

Федор (полувиновато, отцу). Слушай, неужели ты и теперь боишься его? Сколько я понимаю в артиллерии, эта пушка уже не стреляет.

Таланов. Теперь я знаю твою болезнь. Это себялюбие, Федор.

(Ему дурно, ухватясь за край скатерти, он оседает в кресло. Ольга кинулась к нему.)

Ольга. Папа, ты заболел?.. Дать тебе воды, папа?

(Демидьевна, вошедшая с ужином, торопится помочь ей.)

Только тихо, тихо, чтоб мама не услышала.

(Они успевают дать ему воды и подsunуть подушку под голову, когда приходит Анна Николаевна.)

Мама, ему уже лучше. Ведь тебе уже лучше, папа?

Таланов. Трудный день выпал. Все дети, дети...

Демидьевна (Федору). Ступай уж пока, ожесточенный. Потом погуляешь... (совсем тихо) я тебя впускаю.

(Через плечо няньки Федор все смотрит на отца и суетящихся вокруг него женщин. Он, кажется, не верит, что такие пустяки могут вызвать такие следствия.)

Ольга (подойдя к Федору). В самом деле, тебе лучше уйти теперь. Отец рано поднимается... работы много, очень устает.

Федор (беря пальто). Я не знал, Оля, что это... твой жених. Извини!

Ольга (с горечью). И это все, что ты понял за весь вечер, Федор?

(Издали, все повышаясь и усиливаясь, возникает сигнал воздушной тревоги. Федор слушает, подняв голову; потом уходит, никем не провожаемый. Молчание. Присев к столу и сжав уши ладонями, Ольга принимается за правку тетрадей.)

Анна Николаевна (мужу). К тебе Кокорышкин с бумагами. Позовите его, Демидьевна.

Демидьевна (на кухне). Войди, казенная бумага. Засох, поди, у печки-то.

(Она уходит, взамен появляется Кокорышкин и уже на ходу достает чернильницу из кармана.)

Таланов. Задержал я вас, Кокорышкин.

Кокорышкин. Пустяки-с. Зато помечтал на досуге.

Анна Николаевна. О чем же вам мечтается? (С болью.) Не о сыне ли?

Кокорышкин. Мои мечтанья больше из области сельского хозяйства. (Копаясь в портфеле.) Диоклегиан-царь удалился от государственных дел для рощения капусты. В Иллирию. (Подняв палец.) Громадные кочны выращивал. (Подавая бумагу.) О проведении оборонных мероприятий.

Таланов. Это о курсах медсестер? (Подписывая.) А ведь был день. Аня... и у нас все наше, мечтательно, было впереди. И ты держишь экзамен, на тебе майское платье. И ты играла тогда... уже забываю, как это?

(Анна Николаевна идет к пианино. Одной рукой и стоя она воспроизводит знаменитую музыкальную фразу.)

И дальше, дальше. Там есть место, где врываються ветер и надежда!

(Тогда она садится и играет в полную силу. Молча Кокорышкин подает, а Таланов подписывает бумаги.)

Кокорышкин. И последнюю. Иван Тихонович.

(Слышен разрыв бомбы, и второй, ближе. Музыка продолжается. Это борьба двух противоположных стихий. Когда героическая ме-

лодия заполняет все, следует третий, совсем близкий разрыв. Дребезг стекла и грохот обвала. Свет гаснет. С разбега Анна Николаевна успевает сыграть два последующие такта. Потом тишина.)

Чернил не опрокиньте, Иван Тихонович. Погодите, я вам спичечку чиркну.

Анна Николаевна. Оля, зажги лампу. На окне стояла.

(Вспыхнула спичка. Ольга уже у окна. Громкие темноты колеблются на стенах. Короткая пальба и непонятный шум с улицы. Лампа разгорается плохо. Все на ногах. Портрет Феи лежит на полу, и как будто уже наступил другой вечер другого мира. Демидьевна с огарком входит из кухни.)

Ольга. Принеси метлу, Демидьевна, стекла вымести. Федя упал.

(Демидьевна уходит. Слабый шорох у двери. Только теперь Талановы замечают на стуле возле выхода незнакомого старичка с суковатой палкой между колен. Он улыбается и кивает, кивает плешивой головой, то ли здоровствуясь, то ли мимолетно прося и приставившись.)

Таланов (с почтительного расстояния). А ты как попал сюда, отец?

Старик. Со страху заполз, хозяин. Небеса рушатся.

(Ольга подносит лампу ближе. На госте грязные стеганые штаны и такая же кофта; сума и ветхая шапочка лежат у ног. Точно пригнувшись, Кокорышкин со всех сторон осматривает старика.)

Ольга. Ты сам-то откуда, старик?

Старик. Странствую, как Лазарь... в пеленах, в коих был схоронен. И, эва, плита гроба моего еще глядит мне вслед. (И стуча палкой, таким обострившимся взором уставился в угол, что все неволью покосились туда же.)

Чево, чево чресла-то разверзла, вдовица каменная!

Анна Николаевна (вполголоса). Наверно, больной... на прием к тебе прищился.

Таланов (уже профессионально). И давно странствуешь, отец?

Старик. Ведь как: ум-то жадный, земилосливый, шепчет — год, год, а ноги-то стонут — триста, триста! Так и бреду, в два кнута.

Ольга. Так ты не туда забрел, дедушка.

Старик. Дом-от фаюнинской?

Таланов. Дом-то фаюнинский, да тебе через площадь надо. Номера не помню, тоже бывшего купца Фаюнина дом. И там проживает доктор вроде меня, с бородочкой. Он как-раз специалист по странникам. К нему и ступай.

Анна Николаевна. Пускай джереждет, пока налет кончится.

Старик. Спасибо, Анна Миколаевна, за жалость твою.

Анна Николаевна (насторожась). А вы меня откуда знаете?

Старик. Может, и во сну встренились ненароком. Вот, креслице стоит, мяжонькое... и креслице снилось не раз. На нем еще подпалинка снизу есть.

Ольга. Никакой подпалинки там нет, вы ошибаетесь.

Старик. Есть, дочка, есть. Сон был такой: колечко закатилось, а дворник свечку под низ и поставь. Чуть пожара не наделал.

Таланов. Я такого случая не помню.

Старик. А давай, взглянем, Иван Тихонович. Подержи-ка батожок мой, хозяйошка. (Кокорышкину.) Помози, мушиная чахотка.

(Вдвоем с Кокорышкиным они кладут кресло набок. На холщевой подбивке явно видно большое горелое пятно. Талановы переглянулись.)

Тебя, дочка, еще на свете не было, а вещь эта уже в конторе у Николая Сергеевича Фаюнина стояла.

(И что-то в отношениях решительно меняется. Кокорышкин почтительно и чинно кланяется старику.)

Кокорышкин. Добро пожаловать, Николай Сергеевич. Измучились, ожидавши. Свершилось, значит?

Старик. А потерпи, сейчас разведем. (Жесткий, даже помолодевший, он идет к старомодному телефонному аппарату и долго крутит ручку.) Станция, станция... (Властно.) Ты что же, канарейка, к телефону долго не идешь? Это градский голова, Фаюнин, говорит. А ты не дрожи, я тебя не кушаю. Милицию мне. Любую дай. (Снова покрутив ручку.) Милиция, милиция... Ай-ай, не слышать властей-то!

Кокорышкин (выгибаясь и ластясь к Фаюнину). Может, со страху

в чернильницы залезли, Николай Сергеевич, хе-хе!

(Фаянин вешает трубку и сурово крестится.)

Ф а ю н и н. Лета наша новая, господи, благослови.

(Теперь уже и сквозь прочные каменные стены сюда сочится треск пулеметных очередей, крики и лязг наползающего железа.)

Ныне отпускаеши, владыко, раба своего по глаголу твоему, с миром. Яко видеста очи мои...

(Его бесстрастное бормотанье заглушает яростный звон стекла. Снаружи вышибли раму прикладом. Фанерный щит падает. В прямоугольнике ночного окна — искаженные ожесточением боя, освещенные сбоку заревом — люди в касках. Сквозь плывущий дым они заглядывают вовнутрь. Это немцы.)

Конец первого действия

★

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

И, вот, беда грозного нашествия застала небо городка. Та же комната, но что-то безвозвратно ушло из нее: стала тусклой и тесной. Фотографии Федора уже нет; только срамное, в паутине и с гвоздем посреди, пятно зияет на обоях. Сдвинутые вещи, неубранная посуда на столе. Утро. В среднее окно видна снежная улица с тою же, но уже срезанной наполовину колокольней на бугре. Соседнее, высаженное в памятную ночь, забито поверх одеяла планками фанеры. Откуда-то сверху — то усилится, то затихнет — доносится унылое, от безделья, мужское пение. Ольга, одетая по зимнему, собралась уходить. Анна Николаевна держит дверь за скобку.

Ольга. Мама, мне каждая минута дорога... Мама!

Анна Николаевна. А я не пушщу тебя, Ольга. Не пушщу.

Ольга. Пойми, дети могли собраться... из шестидесяти, хоть трое. Что будет с ними?

Анна Николаевна. Сядь и рассуди, какие же занятия сегодня. И кто, безголовый, пошлет своего ребенка в школу!

(Два, один за другим, выстрела. Пригнув голову, кто-то суматошливо и беззвучно пробежал под окном.)

Отойди от окна, Ольга.

Ольга (переменив место). Некоторые живут при глухих бабках, а те и землетрясения не услышат, если бы случилось... Я должна, мне нужно пойти. Я деньги за это получаю, мама!

Таланов (из соседней комнаты). Дай человеку что-нибудь делать, Анна.

Анна Николаевна. Ты хочешь потерять и дочь? Последнюю, Иван. (Демидьевне, которая вошла из кухни). Чего они там распелись-то? Точно отпевают кого...

Демидьевна. И верх, и флигелек во дворе заняли. Куды ни глянь — солдат торчит. (Доверительно.) Опять нонче четверых немцев нашли, заколотых. А сверху записочка на всехобщая.

Анна Николаевна. А в записке что?

Демидьевна. А в записочке надпись, сказывают, — «добро пожаловать». Наро-оду похватали! И у нас на дому синяя бумага висит. Большие деньги сулят, кто докажет. Ищут...

Анна Николаевна. Кого же ищут-то?

Демидьевна. Кто его знает, Андрея какого-то. А у нас в городе Андреев-то штук тридцать, поди, наберется.

Ольга. Нам это неинтересно, Демидьевна. Мы люди мирные. И вам лучше заниматься своим делом.

Демидьевна. В немки, что-ль, записаться? (Обиженно.) Картошка-то у нас на погребе, мимо немца итти. Рази Аниску послать? Она, как ветерок, проскочит.

Анна Николаевна. Пока не стихнет, никому из квартиры не выходить. Пошли-ка ее сюда, на столе прибрать. (Ольге, после ухода Демидьевны.) Расспроси ее, что в Ломтеве-то делается!

(Ольга, не раздеваясь, терпеливо садится на стул. Вошла Аниска.)

Аниска. Меня баушка послала. Что делать-то надо?

Анна Николаевна. Прибери посуду, девочка, только не побей чего-нибудь.

(Пыхтя от важности порученного дела, Аниска приступает к работе.)

А вот Ольга говорит, что зря ты из Ломтева убежала.

Аниска (рассудительно). Чего зря! Лютовать стали, Анна Миколавна. Избу вытопят, сестры нашей, бабенок, нагонят, распатронят как следовало быть... и пошла карусель. У меня подруга была, на одной парте сидела. Так, нагишом, в ледяную воду и кинулась. (По-бабьи, концом головного платка она коснулась глаз.) Чать, помните озерышко-то наше?

Анна Николаевна. Помнишь, Оля, Ломтевские озерки? Ивы старые кругом... помнишь?

(Ольга безучастно смотрит в окно.)

Аниска. Офицер один боле всех ззеровал. Белобрысый, ровно дым, а хроменькой. Надругается, да еще спину сургучом припечатает. С чего бы это, Анна Миколавушка? Ведь баба-то, чать, не письмо.

Ольга (решительно поднявшись). Ну, мамочка, я пошла. А то мне поздно станет.

Анна Николаевна. Платок-то порваней надень. Да горбься, горбься на улице-то. Горбатая да убогая кому глянется!

(Ольга отворила дверь и тотчас закрыла. Долетел шум ссоры; ворчливый басок Демидьевны и знакомый тенорок Фаюнина.)

Ольга (отцу, в соседнюю комнату). Иди, папа. Начинается светлая жизнь. К тебе власть с визитом. Я

черным ходом пройду. (Обернувшись.) Не беспокойся, мама... я скоро вернусь.

(Ушла. Обороняясь от наступающего гостя, появляется Демидьевна. На Фаюнина летний просторный пиджак со складками от лежанья и заветной укладке. Сапоги, стоячий воротничок и лысына блестят, как натертые воском. У него вид и повадки дореволюционного филера.)

Фаюнин. Не заигрывай, голубушка, старик я. Пусти руки, не заигрывай.

Демидьевна. Не посмотрю, что Лазарь. Вдругорядь уж поглубже закупаем, чтоб не вылезал.

Фаюнин. Ай-ай, дуреха какая. Уйди, не расстраивай меня, уйди.

Таланов (выходя к Фаюнину). И правда, уйди, Демидьевна.

(Косясь и ворча, та отходит в сторону.)

Фаюнин. Разве можно такие слова да на людях, да под горячую руку, да кому?.. мне! Ай, дуреха. (Всем.) Поздравляю вас, родные мои. Не за горами, не за горами свет.

(Все молчат. Он напрасно ждет ответа.)

А вы не молчите со мной, родные. Не за платой квартирной, с мирсом пришел. И пришел к вам один. Мэг бы и во множестве нагрнать, а один пришел. Эва, весь тут.

Анна Николаевна. Зачем же вы нас пугаете, Фаюнин!

Фаюнин. Чем тебя, хозяйшкa, птаха сирая испугать может, чем! Твоя дом — полная чаша, а мое гнездо где? Где слава моя, фирма где? Одна газетина парижская писала, что де лён фаюнинский нежней, чем локоны Ланкло Ниноны... Нету! Где птенец мой любимый? В тесной земляной камерке почиает.

Демидьевна. В богадельню, что ли, его, краснорожего? Уж он людей трагить зачал.

Фаюнин (круто повернув голову, так что воротничок врезался в шею). Чего-с? У сирой пташки востры зубки прорезались. Как бы ей тебя, старушечка, не укусить!

Таланов. Ты, Демидьевна, так и не пришила мне вешалки. Принеси в

кабинет. Пусть Анна Николаевна займется.

(Обе поняли и уходят.)

Вы, конечно, по делу ко мне, господин Фаюнин?

Фаюнин. Угадали. Второй день стремлюсь задушевно поговорить с вами, Иван Тихонович. (Аниске, которая подметает пол, намеренно пыля на Фаюнина.) Стань, деточка, в подъезде. Как машина подкатит, упреди. Брысь!

(Аниска убежала.)

Сядем, Иван Тихонович. Старики, а ровно на дуели, стоим.

Таланов. Я слушаю вас.

(Они сели.)

Фаюнин. Где пешком, где опретью — светлый день грядет. Уж скоро, шапки снявши у святых ворот Спасских, войдем мы с вами в самый Архангельский собор. И падем на плиты, и восплачем, изгнанники рая. (Мельком.) Давно в Кремле-то не бывали?

Таланов. Давно.

Фаюнин. Я тоже, все как-то собраться не мог. Сперва, знаете, скитался, потом в одиночестве томился, затем строительством занимался, в горах Акатуя... (Заметив движение Таланова.) Виноват?

Таланов. Мне непонятно... чем я вызвал такое доверие ваше.

Фаюнин. Сходность судьбы-с. Милостями от прежних оба мы не отягощены, сынки наши, может, на одних нарах в казенном доме спали. Кроме того... (Он щелкнул крышкой часов и почмокал.) Ай-ай, время-то. Давайте уж прямоенько. Домичек этот со всей его начинкой предназначен под комендагатуру. Сперва в школу метили, где Ольга Ивановна ваша, да поскольку сгорела дотла, а ремонт ионче, сами знаете... Словом, сейчас сюда придут для осмотра адъютант Виббеля, коменданта, и Мосальский-господин. Значит, вас с супругой тряханут отсюда на старости лет. Но... (почти на ухо, по-приятельски.) бог-то силен! Виббель, по слухам, на тигров охотился, но подобно Перво-

му Петру, государю, ужасно мышек боится. Вот, мы бы его мышками, а?

Таланов. Вы покороче, я понятливый.

Фаюнин. Слушаю-с. (Деловито.) Утречком опять четверых нашли. Все одним почерком, в бочок, заколоты. И с записочкой... Следовательно, остался в городе один какой-то шутник. Андреем его зовут, Андреем. Кто бы это мог быть, а? Хотя бы фотографию взглянуть, что за бова такой бесстрашный.

Таланов. Фотографией не занимаюсь. Андреев знакомых не имею. Все больше Иваны. И сам я тоже Иван.

Фаюнин. Теперь неповинные страдают. Виббель-то отходчив, да с него Шпурре требует. А Шпурре этот... Известно вам, что такое дьявол? Так вот господин Шпурре этим самым дьяволом кровь у себя в управлении, как тряпкой, вытирает. Вытрет, выжмет насухо и сушиться на веревочку повесит. Да-с! А уж чего, казалось бы, этому Андрею руками махать. Можайск-то пал, уж в подзорную трубу воробьев на Архангельском соборе видать... (В самые глаза.) Убедили бы вы его при личном свидании, чтоб сокрылся от греха, не мутил бы нашего города!

Таланов. Это кого же убедить... Шпурре, дьявола или самый Архангельский собор?

Фаюнин. (почти по-детски). Нет, а этого самого Андрея.

Таланов. На площадь, что ли, выйти и кричать, пока не услышит?

Фаюнин. Разве так дозовешься!.. А вы черканите ему письмишечко, чтоб пришел по срочному делу. Кожорышкин так полагает, что адресок его вам непременно известен. Вот и повидаетесь.

(Он ласково поглаживает рукав Таланова. Тот поднялся, шумно отставив стул.)

Таланов. И опять не туда вы забрели, Фаюнин. В должности этой я никогда еще не состоял.

Фаюнин (тоже встав). Это... в какой должности?

Таланов. А вот в должности палача. Не справится мне, силы не те.

Тут, знаете, и веревку надо намылить, и труп на плече оттащить...

Фаюнин. Жаль-жаль. Боюсь... больно Кокорышкин кругом вьется. С Мосальским снюхается, из зубов кусок вырвут... (С надеждой.) Ведь не к спеху, можно и завтра, а?

(С перепуганным видом Аниска влетает из прихожей.)

Ну, что там?

Аниска. Енарал приехал!

(Пометавшись, она потом незаметно прячется за портьерку. Фаюнин выглянул в окно.)

Фаюнин. Хватайтесь за свое счастье, Иван Тихонович. Сам Виbbель прикатил. (Он заранее замирает в полупоклоне.)

(Входит Мосальский, из эмигрантского поколения, в русском, видимо — отцовском, башмаке и дубленом командирском полушубке. Он пропускает вперед похрамывающего адъютанта Кунца, белобрысого, как дым.)

Кунц. Achtung! ¹

(Затем, потирая подмерзшие уши, появляется Виbbель, высокий пожилой офицер в шинели. Фаюнин устремляется навстречу.)

Фаюнин (скороговоркой). Рад приветствовать в собственном доме, где познал жизнь и сам родил сына моего, павшего в беззаветном бою с коммунизмом. Фаюнин... градский голова. Фаюнин!

Кунц. Zurück! ²

Виbbель (Кунцу, гладко и медленно, точно читает упражнение). Я уже давал приказ моим офицерам говорить в этой стране по-русски. (Полуобернувшись). Slave?

Мосальский (переводит на ухо). Раб.

Виbbель. Раб может не знать язык господина, абер ³ господин обязан знать язык раба.

Кунц (покраснев и с усилием). Это та-ак трудно, господин майор.

Виbbель (сердясь). Но я сам говорю по-русски. (Указав пальцем на Таланова.) Кто этот?

Фаюнин (самозабвенно). Тала-

нов, знаменитый здешний, извините за выражение, эскулап-с.

(Виbbель склонил голову к Мосальскому.)

Мосальский (на ухо). Arzt! ¹

Виbbель. Пошему молшит?

Фаюнин. Доктор Таланов взволнован честью видеть господина Виbbеля.

Мосальский. Тебе приличнее, Фаюнин, называть господина команданта — господин майор.

Виbbель. Нишево. (Таланову.)

Надо говорит, мой дружок.

Фаюнин. Господина Таланова сын известен нам, как борец против советской власти.

Таланов (вспыхнув и со стыдом). Это все неправда... Ложь и неправда.

Фаюнин. От скромности!.. Господина Таланова сын совместно с героически погибшим сыном моим Гавриилом...

(Виbbель хмурится.)

Мосальский. Когда ты напомнишь это в десятый раз, Фаюнин, мы отправим тебя в долговременную побывку к твоему сыну. (Таланову.) Отвечай. Сколько здесь комнат и выходов?

Таланов. Когда вы родились, молодой человек, я уже лет десять верно служил моей родине. (Помолчав.) Три и кухня. Выходов два.

Мосальский (опустив глаза). Подвальное помещение у вас имеется?

(Таланов отрицательно качнул головой.)

Угодно господину майору осмотреть расположение комнат?

Фаюнин (забегая вперед). Здесь, изволите видеть, у них кабинет. Имеется неудобство: как ни кинь, стол приходится против окна. Конечно, если поставить дополнительно часового...

(Мосальский останавливает его за плечо.)

Мосальский. Останешься здесь, Фаюнин.

Таланов. Могу я уйти теперь?

(Ему не отвечают. Виbbель взглянул на Кунца, — тот остается Мосальский с Виbbелем уходят.)

¹ Смирно!

² Назад!

³ Но.

¹ Врач.

Фаюнин (желчно). Уж если вы, Иван Тихонович, сами выгоды своей не понимаете, так мне, по крайней мере, не мешайте. Они же вам тут кровью все загадят!

Таланов. Ах, не трогайте меня, Фаюнин.

(У окна, где стоит Кунц, дрогнула портьерка. Кунц с интересом отводит ее в сторону. Прижавшись к косяку, Аниска в ужасе молчит. Куиц узнал свою беглянку.)

Кунц. Ah, du mein feiner Käfer!¹

(Он тянется пальцами к ее подбородку. Аниска с визгом бросается наутек; приговаривая — «Kommt mal her, kommt mal her, Lieblein»², Кунц спешит за нею. В сопровождении Мосальского возвращается встревоженный Виббель.)

Мосальский. Кто тут кричал?

Фаюнин (разводя руками). Такая оказия! Мышка скользнула да прямо девчонке под подол...

Виббель (тихо). Что есть мишка?

Мосальский (на ухо). Maus³.

Фаюнин. Их тут и раньше пропасть бегало. По причине соседства булочной. За обоями так, бывало, стайками и шурстят.

(Виббель в нерешительности поглядывает под ноги себе. Виновато посмеиваясь, возвращается Кунц.)

Только они тута ласковые, господин майор, как канарейки...

Виббель (содрогнувшись). А ньет. Этот плохой дом. Ньет этот, ну... kein Raum für die Wachtmanschaft.⁴

Мосальский. Конвойная рота.

Виббель. Да, так. Wir müssen in alte Loch zurück.⁵

(Вскинув два пальца к козырьку и все еще поглядывая по углам, он поворачивает к выходу. Для прочности воздействия Фаюнин решается даже преградить ему путь.)

Фаюнин. А ведь только, господин майор, от них вреда нету... от мышек. (Действием показывая, как это делается.) Ее в уголочек загонишь, пальчи-

ками этак сдвинешь шеечку... и в форточку. Сальтоморталь и все!

(Виббель ускоряет шаг. Не отставая, Фаюнин убегает за ним.)

Мосальский (уже вежливо). Скажите, доктор... Я не очень верю этой лисе. Сюда действительно забежали мыши?

Таланов (в лицо). И крысы, господин офицер.

(В глазах Таланова не читается и следа насмешки. Мосальский неохотно берется за скобку двери. Вернувшийся Фаюнин, облизывая губы, сторонится в дверях.)

Фаюнин. Видали, как пробка, у меня вылетел! Вопите ура, Иван Тихонович: сам буду жить у вас. (На радостях он даже пытается обнять Таланова.) Зато уж потесню маленько.. кабинетик-то отберу. Временно! Крупной фирме место только в Москве. Кстати, я его и на новоселье пригласил. Четверть века именин не справлял... теперь уж по-новому стилю их отпляшем. Подарков не жду, а уж с супругой пожалуйста!

Таланов. Вряд ли выйдет, мы люди больные...

Фаюнин. Не пренебрегайте: сам Шпурре будет. Пригодится! Насчет Андрея подумайте. И хотя... (загадочно) мы его, возможно, еще нынче вечером сами увидим, политически важно, чтоб это исходило именно от вас. А ведь ловко придумано; добро пожаловать! Шпурре так распалился, что аж искры от него летят, как эти слова услышит.

Таланов. Я устал, я устал от вас, Фаюнин.

Фаюнин. Лечу. Еще в управу надо, потом мертвяков немецких хоронить, потом с жителями совещание... Дела! Вы пока вещи-то переносите, а вечером и сам переберусь. Ауфвидерзех, что значит, будьте здоровеньки, господин эскулап!

(И, сделав ногами балетный росчерк, убежал. Минуту Таланов стоит посреди, повторяя: «Обезьяны, обезьяны...» Потом начинает снимать фотографии со стен. За этим делом и застает его Анна Николаевна.)

Анна Николаевна. Что ты делаешь, Иван?

¹ Ах, это ты, милочка!

² Поди сюда, поди сюда, красотка.

³ Мышь.

⁴ Нет помещения для охраны.

⁵ Придется возвращаться в прежнюю дыру.

Таланов. Освобождаю место, Аня. Здесь предполагается обезьянник.

(Анна Николаевна закутывает голову шерстяным платком.)

Далеко собралась?

Анна Николаевна. (с досадой). И ведь запретила из дому выходить. Солдаты шляются по городу, трезвые хуже пьяных... Аниска пропала, Иван.

(Войдя через заднюю дверь, Ольга проходит к себе за ширму.)

Хоть Ольга-то вернулась, слава богу. (Громко.) Оля, к тебе два каких-то товарища пришли по школьным делам.

Ольга. Ничего, подождут.

(Анна Николаевна ушла.)

Таланов. Что у тебя в школе, Ольга?

Ольга (почти беспечно). Как всегда, мама оказалась права. Из ребят никто не явился. (Она вышла, взяла хлеб со стола.) Ужасно проголодалась.

Таланов. Что же ты делала в школе?

Ольга. Заглянула в класс. Пустой, неприбранный... И только сквозняк Африку на стенке шевелит. Там окно разбито.

Таланов. Одно разбито... или несколько?

(Опустив руку с хлебом, Ольга пристально смотрит на отца.)

Мы жили дружно, Оля. И у тебя никогда не было от нас секретов. Но вот, приходят испытания, и ты выдумываешь разбитое окно... и целую Африку, как мглистый камень, нагромождаешь на нашу дружбу. Ты рассеянная. Ты даже не заметила, что школа-то сгорела, Оля.

Ольга (ловя руки отца). Милый, я не могла иначе. Я не имею права. Ты же сам требуешь, чтоб я дралась с ними... мысленно требуешь. Кого же мы. Федора туда пошлем? (Нежно и горько.) И я уже не твоя, папа. И если пожалеешь меня—уйду. (И сквозь слезы еще неизвестная Таланову нотка завучала в ее голосе.) Ах, как я ненавижу их... Речь их, походку, все. Мы им дадим, мы им дадим урок скромности! И если пушек не станет, и ногти сорвут, пусть кровь моя станет ядом

для того, кто в ней промочит ноги!

Таланов. Вот ты какая выросла у меня. Но разве я упрекаю или отговариваю тебя, Ольга, Оленька!

Ольга. И не бойся за меня. Я сильная.. и страшная сейчас. В чужую жалобу не поверю, но и сама не пожалуюсь.

Таланов. Вытри слезы, мать увидит. Я пока взгляну, что она, а ты прими своих гостей. (С полдороги, не обернувшись.) Фаюнин обмолвился, что вечером намечается облава. Так что если соберешься в школу...

Ольга (без выражения). Спасибо. Я буду осторожна.

(Отец ушел. Ольга отворила дверь на кухню. Она не произносит ни слова. Так же молча входят — Егоров, рябоватый, в крестьянском армяке, и другой, тощий, с живыми черными глазами, Татаров, в перешитом из шинели пальтишке. Говорят быстро, негромко, без ударений и стоя.)

Кто из вас придумал назваться школьными работниками? На себя-то посмотри! А что в доме живет врач, и вы могли порознь притти к нему на прием, это вам и в голову не пришло.

Татаров. Верно. Сноровки еще нет. Учимся, Ольга Ивановна.

Егоров. Ничего, ненависть научит. Мужики-то, как порох, стали, только спичку поднести. (Передавая сверток в мешковине.) Старик Шарапов велел свининки Ивану Тихоновичу передать: жену лечил у него... Видела Андрея?

Ольга. Да. Он очень недоволен. В Прудках разбили колунами сельскохозяйственные машины. Зачем? В Германию увезут или стрелять из молотилок станут? Паника. А в Ратном пшеницу семенную пожгли. Прятать нужно было.

Егоров. Не успели, Ольга Иванна.

Татаров (зло). А свою успели?

Ольга. И все забывают непрерывность действия. Чтоб каждую минуту чувствовали нас. Выбывает один — не медля, с тем же именем заменять другим. Партизан не умирает... Это — гнев народа!

(Дверь распахнулась. Ничего не понять сперва: шум, плач, чей-то востренький смех. Не замечая посторонних, вбежала Анна Николаевна.)

Анна Николаевна. Быстро, дай что-нибудь теплое... юбку, одеяло, все равно!

Ольга. Что случилось?.. с папой? Ты вся дрожишь, мама.

(С силой, непривычной для женщины, Анна Николаевна выдернула из-под кровати чемодан Ольги и наспех выхватывает вещи. Ольга выглянула в приложную)

Она под машину попала, мама?

Анна Николаевна (убегая с вихором вещей). Самовар поставь... и корыто железное из чулана сюда!

Ольга (гостям). На кухню... Там договорим.

(Егоров и Ольга уходят. Татаров задержался: ему видна прихожая. По его осуловшему лицу можно прочесть о происходящем там.)

Голос Таланова. Я подержу под руки, пока... Освободи диван, Демидьевна!

Голос Анны Николаевны. Ничего, милочка, ничего. Здесь их нету... успокойся!

(Пятясь и не сводя глаз с Аниски, которую сейчас введут в комнаты, появляется Демидьевна.)

Демидьевна (причитая). Махонька ты моя зве-ездочка, потушили тебя злые во-ороги...

(Горе ее бесконечно.)

Конец первой картины

★

Картина вторая

И вот, переселение состоялось. Теперь жилище Таланова ограничено пределами одной комнаты, заваленной вещами: еще не успели разобрать. Вдоль стен наспех расставлены кровати; одна из них, видимо, спрятана и за ширмой. Веселенькая ситцевая занавеска протянута от шкафа к окну, закрытому фанерой. В углу, рядом со всякой хозяйственно-обиходной мелочью, — щетка, самовар, еще не прибитая вешалка — стоит разбитый, вверх ногами, портрет мальчика-Феди. Поздний, по военному времени, час. У Фаюнина передвигают мебель, натирают полы: торопятся устроиться до ночи... Только-что закончилось чаепитие на новом месте. Присев на тую возле стола, Анна Николаевна моет посуду. Таланов склонился над книжкой журнала.

Таланов (откладывая книгу). Так рождается новая область медицины: детская полевая хирургия!

(С фаюнинской половины слышен визгливый голос Кокорышкина: «краем, краем заноси.. Люстра, люстра! В ноги надо смотреть...» Треск мебели, жалобный звон хрустальных подвесок, что-то упало и покатилося. «Миллионная вещь, деревенщина!» Какой-то огромный предмет протаскивают за открытой дверью. В жилетке, с перекошенным лицом влетает, обмахиваясь картонкой, Кокорышкин, произносит: «уларят они меня нынче. Откажусь, откажусь... Капусту стану садить!» — и исчезает. Таланов идет закрыть дверь, но и после этого сочится брань и скрежет, — кажется, нечистая сила переставляет там стены с места на место, а на матовом стекле появляются размахивающие руками силуэты и тени фантомов, занятых благоустройством фаюнинского уголка.)

Таланов. Помяни мое слово: съест Фаюнина наш Кокорышкин. В гору пошел!.. Ну, спать пора, Аня, поздно.

Анна Николаевна. Надо еще Ольги дожидаться. (Вдруг.) Как ты думаешь, зачем сюда приехал Федор?

Таланов. Не надо о нем, Аня. Мы похоронили его еще тогда, три года назад.

Анна Николаевна (обычным голосом). Не пора давать лекарство?

Таланов. Через десять минут.

Анна Николаевна. Через десять минут уже нельзя ходить по улицам, а Ольги еще нет.

Таланов. Открыла бы дверь на всякий случай.

Анна Николаевна. У нее есть ключ.

(На кухне хлопнула дверь.)

Легка на помине.

(Рванув на себя дверь, вся в снегу, вошла Ольга. Стоя к родителям спиной, она отряхивает шубку за порогом. Так удается ей скрыть одышку от долгого бега.)

Ольга (*еле переводя дыхание*). Кажется... я опять опоздала к чаю.

Анна Николаевна. Чайник еще горячий. Пей. Что на улице?

Ольга. Снег идет... вьюга. По двору наощупь шла.

(На стекле рождается силуэт Кокорышкина, потом входит он сам. Ольга делает вид, что не замечает его.)

Жалко часовых в такую ночь!.. Вам что-нибудь нужно, Семен Ильич?

Кокорышкин. Метелочки у вас не найдется? Пыль обмести.

Ольга. Конечно. (*Она подает ему щетку.*) И вообще, если что-нибудь требуется... Устраиваетесь?

Кокорышкин. Расставляемся. Все фаюнинские вещи разыскал. Стол письменный в исполкоме, буфет из детских яслей вырвал... Басстрашно по улицам ходите, Ольга Ивановна!

Ольга. О, у меня еще семь минут в запасе, Семен Ильич.

(Голос Фаюнина: «Семе-он!»)

Кокорышкин. Несу-у... (*Проникновенно и с намеком.*) Ну, на новом-то месте приснишь, жених, невесте!

(Он побежал. Ольга прикрывает за ним дверь.)

Анна Николаевна. Я даже не знала, что его зовут Семен Ильич... Что ж ты стоишь? Садись, пей чай, раз пришла.

Ольга (*неуверенно*). Видишь ли... я не одна пришла. Такое совпадение, знаешь. Я уже во двор входила, гляжу, а он бежит...

Таланов. Кто бежит?

Ольга. Ну, этот, как его? Колесников! А с угла патрульные появились. Я его впустила...

(Родители не смотрят друг на друга: каждый порознь боится выдать то, что знает об Ольге.)

Он уйдет, если нельзя. Он минут через шесть... или десять... уйдет.

Таланов. Так зови его. Где же он сам-то?

Ольга. Видишь ли... он ранен немножко. Пуля случайно задела. Пустишки, плечо...

(Таланов быстро уходит на кухню.)

Мамочка, ничего не будет. Папа перевяжет ему, и он уйдет... домой. Я так прямо ему и сказала... Он понимает.

Анна Николаевна. Посмотри мне в глаза, Оля. (*Она приподняла за подбородок ее опущенную голову.*) Ты у нас смелая и честная девочка, но ты... последняя. Федор не вернется. Отец стар. Несчастье убьет его.

(Ольга порывисто целует ее в лоб. Таланов впускает Колесникова. Он в той же меховой, уже потрепанной куртке, небритый и безоружный; рука бессильно висит вдоль тела.)

Что с ним?

Таланов. Сейчас посмотрим. Оля, воду и тазик. За ширму. Стань у двери, Анна.

(Беззвучная, стремительная суета. Все на своих местах.)

Пройдите сюда, на кровать.

Колесников (*идя за ширму*). Как нескладно все получилось. И спать вам не даю, да и нагрнуть за мною могут. Снег бы не подвел!

Таланов. Придушаем что-нибудь. Снимайте ваш камзол.

(Сцена пуста. Дальнейший разговор происходит за ширмой. Льетесь и булькает вода. Таланов моет руки.)

Снимите совсем. Помогите, Ольга. Не торопитесь, вытяните руку...

(Треск разрываемой ткани.)

Здесь больно?

Колесников. Немножко... Также нет, только ноет. А как странно все это, Иван Тихонович! (*Его интонация меняется в зависимости от болезненности той стадии, в которой находится исследование и перевязка раны.*)... я говорю, как странно: восемь лет мы работали с вами вместе. Я вам сметы больничные, резал, дров в меру не давал, на заседаниях бранились. Жили рядом...

(Он замолк. Упали ножницы.)

Таланов. Спирт. Потерпите, сейчас закончим. Выше, выше... Бинт.

(Потом из молчания снова возникает голос Колесникова.)

Колесников. И за все время ни разу не поговорили по-душам. А ведь есть, о чем. Нет, теперь не больно... И

сколько таких неопознанных друзей у нас в стране. Мы были суровы и забывали слово нежность.

Таланов. О нежности потом. Пока все. Утром еще посмотрим. Где мы его положим, Аня?

(Та не успевает ответить. Резкий и властный стук в раму окна. Смятение. С усилием натаскивая на себя куртку, Колесников первым выходит из-за ширмы.)

Колесников. Это за мной. Вот и вас-то подвел. (Идет к выходу.) Я встречу их во дворе. Сразу тушите свет и спать.

Анна Николаевна. Оставайтесь здесь.

Колесников. Они будут стрелять... Да и я так, запросто, им не дамся.

(Анна Николаевна уходит, сделав знак молчать. Текут томительные минуты. От Фаюнина несется игривая музыка: музыкальный ящик, аристон. На кухне голоса. Колесников отступает за ширму. Обессиленная, хотя опасность и миновала, Анна Николаевна пропускает в комнату Федора. Он шурится после ночи, из которой пришел: непонятный, темный, тяжелый. Усики сбриты. Позже создается впечатление, что он немножко пьян.)

Анна Николаевна. А мы уж спать собрались, Федя.

Федор. Я так, мимоходом зашел. Тоже пора бай-бай: уста-ал. (Он садится, потягиваясь и не замечая, что все стоят и терпеливо ждут его ухода.) Деревни кругом полыхают. Снег ро-озовый летит, и в нем патрули штыками шарят. (С зевком.) Облава! (Подмигнув Ольге.) А я знаю, по ком рыщут.. найдут, чорта с два! Он глядит где-нибудь из щелочки и ухмыляется. Бравый товарищ, я бы взял в компанию такого.

Ольга. А сам-то как же прошел? У тебя ночной пропуск есть?

Федор. У меня в каждом заборе пропуск. (Задиристо.) Стрельнули бы, так и у меня есть. (Хлопнув по карману.) Пуля за пулю, баш на баш.

Таланов. Выдали, что ли... оружие-то?

Федор. Из земли вырыл, товарищ завещал. (И только теперь заметив обступившую его выжидательную тишину, поднимается.) Я, ведь, собственно, по

делу. У вас выпить чего-нибудь не найдется? Иззяб весь...

Таланов. Странно, Федор. Русские деревни горят кольцом, а тебе холодно. Зашел бы да и погрелся у головешек... (Резко.) Нет у нас водки, Федор.

Федор. У доктора да нету... Смешно!

Ольга (примирительно). Я из-днях зарплату получила. (У нее все падает из сумочки при этом от спешки.) Возьми, купи себе... только там, там...

Анна Николаевна. Убери свои деньги, Ольга. (И вдруг сорвавшимся голосом.) Подлец... как тебе не стыдно! Волки, убийцы в дом твой ворвались, девочек распинают, старух на перекладину тащат... а ты пьяный, пьяный приходишь к отцу. Ты уже испугался, испугался их, бездомный бродяга? (Мужу.) Он трус, трус...

Таланов (дочери). Уведи на кухню. Фаюнин услышит.

Ольга. Мама, пойдем, мамочка. Там, за печкой, поплачешь. (Беря ее под руку). Он сейчас уйдет. Осталось же в нем хоть немножко сердца. Он уйдет...

Анна Николаевна. Бог его накажет... пусть бог его накажет!

(Ольга увела плачущую. Федор выдерживает пристальный взгляд отца.)

Федор. И опять сорвалось. Вот, три дня мотаюсь по городу... и все думать не умею. Мелькнет ниточка и рвется. Озяб я... Дай мне лекарство, отец, чтоб спалило все внутри... Дай!

Таланов (не сразу). Хорошо, я дам тебе лекарство, сильнее которого нет на свете.

Федор (хрипло). Сейчас дай.

Таланов. Сейчас дам. Выпей его залпом, если сможешь.

(Он неторопливо отдергивает веселенькую занавесочку. Сперва и не поймешь, в чем дело. Сгорбась, сидит Демидьевна, поглаживая кого-то, лежащего на кровати и накрытого пошты с головой. Из-под одеяла посверкивают горячечные точечные зрачки.)

Можно к вам, Демидьевна?.. Не дремала?

Демидьевна. Не может. (С глухой мужицкой лаской.) Спи ты, касатка. Спи ты, яблонька моя полевая. Спи...

Таланов. Вот тебе лекарство, Федор. Оно на человеческой крови замешано.

Федор (почти спокойно). Кто же это?

Таланов. Ты видал ее у нас. Смешную Аниску помнишь? Она. Ей пятнадцать. Их было много... рыжих, беспощадных. Твоя мать нашла ее уже на дровах, в сарае. Всю в занозах.

Демидьевна. Была смешна, да ни смешиночки в ей не осталось.

Аниска (высвободив голову и каким-то дрожким, пылающим голосом). Ска-азку давай... баушка. Где ты, где!

Демидьевна. Тут я, тут, яблонька. (Напевно и меланхолично.) И вот, махонька моя, лишь успел он вымолвить свое прошение, глянь — идут к нему полем четыре великих мастера. За руки держутся, голова в облаках. Один в сером, другой в полосатом пальте, в белом третей, а четвертый в черном. Ветер, дождь, мороз-воевода...

Аниска (с проблеском сознания). А в черном-то кто же... баушка?

Демидьевна. А в черном пальте — солнышко. В черном-то, чтоб ему ненароком не спалить чего. Оно куда и полюбовно глянет, а там огонь бурлит. (Аниска заулыбалась, довольная, поднялась на локте. Демидьевна откидывает со лба ее волосы.)

И пошла меж их дружная работа. Ветер пыхтит — дорожки подметает, дождик рошу мшет, а солнышко радугу над воротами ме-сским гвоздичком приколачивает...

Федор (грубовато, тронув Демидьевну за плечо). А ну, пусти меня посидеть близ нее, нянька.

(Демидьевна смотрит на Таланова, тот утвердительно кивает.)

Таланов (вполголоса). Приподними ее немножко!

Демидьевна. Подымайся, звездочка. Ты ево не бойсь. Это сынок хозяйский, Федор Иваныч. Он тебе пряничек преподнесет.

(Безотрывно, опершись локтем в колено, Федор смотрит в горящие глаза Аниски.)

Федор. Есть у ней кто-нибудь из родни-то?

Демидьевна. Были. Были у ей и братья, соколиной рати. Один-то убит, в десантной части! А другой и пононче бессонно бьется. Танкист он подмосковный. Одна я у ей тута. А и самоё-то утресь завязало в узелок, и развязаться не могу.

Федор (в самые глаза). Здравствуй, Аниска.

(В лице Аниски родится ужас.)

Аниска. Ой, беги, беги... они тебя за шею повесят, беги-и!

(Она бессильно отваливается к стене. Федор поднимается, разминаясь.)

Федор. Хватит мне, пожалуй. Уж больно жжет...

Демидьевна (Таланову). Спиночку-то ейную не показать ему? Спиночка-то вся сургучом закапана. (Решительно Аниске.) Съеми, давай, рубашечку-то, чернавушка. Пускай Федор Иваныч посмотрит. Он из путешествия воротился, еще не знает...

(И вот, начала, было, приподымать розовую, с прошивками, ольгину сорочку, но Таланов остановил ее, а Федор уже отошел.)

Таланов (поверх уже задернутой занавески). Лекарство пора, Демидьевна... Вот и все, Федор. Ну, спать нам тебя положить негде, а уж ночь во дворе.

Федор (смотря на свой портрет). Слушай... у тебя здесь никого нет?

Таланов. За дверью — Флюцин, а здесь — нет. А что?

Федор. Поцелуй меня, отец. В лоб. Вперед и за все разом поцелуй... Можешь?

(Таланов криво усмехнулся на непонятную просьбу сына. Вернулась на цыпочках Ольга. И, вдруг, оказывается, сами того не замечая, все смотрят на один и тот же предмет: тазик с ярко-красными бинтами после перевязки. Ольга делает порывистое движение убрать таз, и это выдает тайну. Сдержанное лукавство проступает в лице Федора. Зайдя сбоку, он сильным и неожиданным движением сдвигает ширму гармоникой. Там стоит Колесников.)

Федор. Э, да у вас тут совсем ляззрет. Комплект!.. Ну, как, приятно стоять за ширмой?

Ольга. Понимаешь, он случайно вывихнул руку, и вот...

Федор (*насмешливо*). Не вижу смысла скрывать... что к врачу на прием зашел такой знаменитый человек. (*В лицо.*) А за вас большой приз назначили, гражданин Колесников.

Колесников. Мне это известно, гражданин Таланов.

Федор. И все-таки за тебя — мало. Я бы вдесятеро дал. (*Четко и не без вызова.*) Вникни, старик, в мои душевные переливы. Сейчас я пойду из этого дома вон. Пока не выгнали. Никаких поручений мне не дашь?.. Могу что-нибудь твоим передать, а?

Колесников. Да видишь ли... нечего мне передавать. Да и некому.

Федор. Та-ак, понятно. Как говорится в романах: и он удалился, низко спустив голову. Зря зашел, наследил только. (*Наклонясь к ногам.*) Вы чего тут наделали в благородном семействе? Пошли вон!!

(И, действительно, создается впечатление, что это устыженные ноги торопятся вынести его из дома. Все тревожно провожают его взглядом: какую решимость уносит он под этим шутством? Ольга, не выдержав, равнулась вслед.)

Ольга. Он все любовь переживает, шут гороховый!..

(Он обернулся на эту пощечину. Высоко приподняв одну бровь, он обводит всех почти смеющимися глазами. Потом резкий поворот, рывок в дверь, что-то упало на кухне, — и молчание.)

Любовь переживает...

Таланов. Это ты зря сделала, Ольга. Теперь, я боюсь, вам придется быстро уходить отсюда, Андрей Петрович.

(Колесников двигается к выходу. На пороге его останавливает Анна Николаевна.)

Выпусти Андрея Петровича.

Анна Николаевна (*шопотом*). Нельзя. Во дворе какой-то человек стоит. В шляпёнке. Мычит и весь дрожит при этом.

Таланов. Может, больной ко мне?

Анна Николаевна. Какие же теперь больные! Не думаю.

Ольга. Как же Федор-то ушел в таком случае?

Анна Николаевна. Значит, не Федор ему нужен.

(Двустворчатая дверь торжественно открывается. В одной жилетке, с приятностью в лице, в упоении от достигнутого могущества, входит Фаюнин. Сзади с подносом, на котором позванивают налитые бокалы, семенит Кокорышкин. Шустренькая мелодия сопровождает это парадное шествие.)

Фаюнин. Виноват. Хотел начерно новосельишко справить... Да у вас гости, оказывается?

(Выхода нет. Точно в воду бросаясь, Анна Николаевна делает шаг вперед.)

Анна Николаевна. Гости и радость, Николай Сергееч. Только-что сын к нам воротился.

Таланов. Через фронт пробирался. И, как видите, пулей его оттуда проводили.

Ольга. Знакомьтесь. Федор Таланов. А это градоправитель наш, Фаюнин.

(Церемонный поклон. Кокорышкин подслеповато и безучастно смотрит в сторону.)

Колесников. Простите, не могу подать вам руки.

Фаюнин. Много и еще издали наслышан о вас. Присоединяйтесь!

(Все разбирают бокалы. У Кокорышкина дрожат руки, стекло позванивает.)

Возьми и себе бокалишко да поздравь с возвращением молодого человека, муха.

(Не спеша, Кокорышкин ставит поднос на стол, выбирает бокал поплнее.)

Кокорышкин. Добро пожаловать... Федор Иванович!

(Все смущены. Кажется, Кокорышкин и сам понял свою оговорку — завертелся, заюлиа. И, может быть, это только танец его сокровенного ликования.)

Ольга. Забудьте вы эти слова, Семен Ильич. Попадете вы в историю!

(Все смеются над смущением Кокорышкина.)

Фаюнин. Он теперь и наяву бредит: тайну бы раскрыть... (*Поднимая бокал.*) Ну, будем радехоньки!

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же, что и вначале, комната Таланова, теперь улучшенная и дополненная во вкусе нового жилья: ковры, пальмы, аристон, солидная мебель, вернувшаяся по мановению старинного ее владельца. Длинный, уже накрытый стол пересекает сцену по диагонали. К нему приставлены стулья, много, по числу ожидаемых гостей. На переднем плане высокое, спинкой к рампе, кресло для Виббеля. Кривой и волосатый официант, весь в белом, завершает приготовления к новоселью. Сам Фаюнин в золотых очках и дымя сигарой в отставленной руке, подписывает у столика бумаги, подаваемые Кокорышкиным. Тот уже побрит, придет, в воротничке, как у Фаюнина, и даже как будто немножко поправился. День клонится к вечеру. На месте федийной фотографии висит меньшего размера портрет человека с мокрой прядью через лоб. Разговаривая, все часто на него поглядывают.

Кокорышкин. И еще одну, Николай Сергееч.

Фаюнин. Что-то мне, братец, голову ст твоих бумаг заломило.

Кокорышкин. Государственное дело только с непривычки утомляет. А как обмахнешься, так и ничего. *(Подавая следующую.)* О сокрытии от германских властей пригодного для них имущества. Не беспокойтесь, сам Шпурре составлял-с!

(Фаюнин подписывает.)

И последнюю, Николай Сергееч. *(Злопадствуя чему-то.)* При мне господин Федотов, начальник полиции, от Шпурре выхледили. Утирали платком красное лицо. Видимо, получимши личное внушение. От собственной, господина Шпурре, руки... Плохо Андрея ловит-с! *(Подовая бумагу.)* О расстреле за укрытие лиц партизанской принадлежности.

Фаюнин *(беря бумагу.)* Что с облатой?

Кокорышкин. Осьмнадцать душ с полсвиной. Один — мальчишечка. Из них, полагают, двое соприкосновенны шайке домянутого Андрея.

Фаюнин. Эх, его бы самого хоть пальчиком коснуться.

Кокорышкин. *(тихо и вятно.)* Это можно-с, Николай Сергееч.

(Вронив бумагу на колени, Фаюнин ухватился в него поверх очков. Кокорышкин многозначительно косится на официанта.)

Фаюнин. Слетай, ангелок, проведай там телятину. Не готова ли?

(Официант уносится на талановскую половину.)

Ну!

Кокорышкин. Есть у меня один приятель... да дорого просит.

Фаюнин. Ну!

Кокорышкин. Смеяться станете!.. Имея довоенный еще позыв к политической деятельности, а также стремление искать и находить... Словом, поскольку господина Федотова теперь турнут за непригодность...

Фаюнин *(сообразив.)* В начальники метит? Да он в своем уме? Это же к самому дракону в пасть лезть. Его сам Виббель трясетяся. Да ты сам-то видал Шпурре хоть раз?

Кокорышкин *(благоговейно вдыхая воздух.)* Уму непостижимо. Сила!

Фаюнин. Деньги ж дают, муха.

Кокорышкин. Я с ним и так, и сяк — отказывается. Деньги, говорит, есть условный знак мирного времени. Теперь ничего на них не купишь, а после взятия Москвы другие выпустят.

Фаюнин. Еще когда выпустят-то! За Москвой-то еще Волга. А за ея Урал лежит в шубе снеговой. А еще дале — Сибирь, с речичами, с лесичами. А уж позади ее и нивесть что! Только сполохи шатаются... Россия — это, брат, такой пирог, что чем боле его ешь, тем боле остается!

(Кокорышкин пожал плечами: дескать, мое дело сторона.)

Ты выуди адресок-то, да и обмани.

Кокорышкин. Эх, Николай Сергееч! Нонче еще три солдатика задобро пожаловали. Может, и сейчас заготовка на завтра идет. А ведь за это с градского головы взыщут... Скажут: все сигары курили-с?

(Фаюнин суеверно откладывает сигару.)

Повременим, может, и дешезше подвернется.

(Он складывает бумаги в портфель: Фаюнин сердится. В сопровождении официанта, осунувшаяся и строгая, в зловеще-черном платье, Демидьевна вносит блюдо с телятиной.)

Демидьевна (почти величаво).

Куды падаль-то ставить, коршуны?

Кокорышкин. Не задевай. Зачем, зачем торопишься? Час настанет, сама помрешь.

Демидьевна. Эх, не доглядела я тебя, Семен Ильич.

Кокорышкин. Еще придешь ко мне в сирлухи наниматься. И прогоню... и прогнью..

Фаюнин (шикнув на Кокорышкина). Сюда, на срединку ставь, старушечка. Ой, хорошо ли ужарилась-то? (Отрезав кусок.) Ну-ка, пожуй, не жестка ли?

Демидьевна. По моим зубам и каша тверда.

Фаюнин. А все равно пожуй, старушечка.

(Усмехнувшись на его опасения, Демидьевна ест мясо. Тогда, осмелев, и Фаюнин лакомится куском поменьше.)

Ай-ай, ровно бы горчит маненько, а?.. Пригаринка, видно. А не смейся. Видела на стенках-то? Уж ищут одного такого, Андрейкой звать. (Подмигнув.) Вот бы тебе хватануть капиталец, на черный-то день, а?

Демидьевна. Куды мне! Капиталу в мсгилу не возьмешь. Кабы еще продуктами выдавали.

Фаюнин. Можно, можно и продуктами.

Демидьевна. Еще смотря какие продукты. Сухие аль в консервах?

Фаюнин. По желанию. Мыло да крупка хсть век пролежат.

Кокорышкин. В Египте мумию нашли. При ей пшено и кусок мыла. Как вчера положено!

Демидьевна. А как уладимся-то, змей? По чистому весу, с нагиша, станешь платить, али с одеждой? А, ну-к, у ово бомбы в кармахах? Ведь, поди, чугунные.

(Деликатно отвернувшись, Кокорышкин беззвучно смеется. Плечики его вздрагивают. Официант вторит ему, прикрываясь салфеткой.)

Фаюнин. Не омрачай мне праздника, старушечка. Именинник я. Уйди, уйди от греха.

(Он оглянулся. Официант усердно перетирает бутылки. Медленная и прямая Демидьевна уходит. Фаюнин толкает в бок Кокорышкина.)

Кокорышкин. Уж дайте досмеяться, Николай Сергееч. Хуже нет, когда не досмеюсь!

Фаюнин. Полно, рассержусь, полно.

Кокорышкин. Ну, чево, чево вам от меня. Ей-богу, Мосальский дороже даст. Только мигнуть.

Фаюнин. Человек-то он верный, приятель твой?

Кокорышкин. Господи! (Вкладывая всю душу.) Он является сыном бедного околоточного надзирателя. Пятен в прошлом не имел. И даже наоборот, судился за растрату канцелярских средств. Сто сорок два рубля-с.

Фаюнин. Больше-то аль рука дрогнула?

Кокорышкин. Больше не довери-ли, Николай Сергееч.

Фаюнин. Ты?

Кокорышкин. Я-с!

(Оба смеются.)

Фаюнин. Ну, показывай товар лицом, а то гости собираться станут.

Кокорышкин. Увольте, сам тыщу лет ждал. Вся душа перегорела.

Фаюнин. Хоть за ниточку-то дай подержаться. Может, ты только завлекаешь меня!

Кокорышкин. Разве уж ниточку!..

(Косясь на дверь к Талановым, он шепчет только «Ольга Иванна!» и отскакивает. Фаюнин раздумчиво мычит.)

Фаюнин. Сам-то он далеко отсюда находится?

Кокорышкин. Небыстрой ходьбы... минут двадцать семь.

Фаюнин. Не сбежит он у тебя?

Кокорышкин. Я враз, как прознал, шлягу одну во дворе поставил. Сам не пойдет, чтоб своих не выдать... Все одно как на текущем счету лежит.

Фаюнин. Ну, муха, быть тебе словом. Бумаги отнесешь, надушишь... и покрепче надушишь... Пахнешь ты нехорошо! И приходи. Я тебя на Шпурре выпущу, а уж ты сам яви ему свое усердие.

(С дороги Кокорышкин оглядывается, опасаясь за врученную тайну. «Не спугните, Николай Сергич!» И верно, оставшись один, Фаюнин сразу оказывается у талановской двери. Он дважды собирается постучать туда, но еще прежде на стекле появляется смлеут Таланова и раздастся стук. Отскочив в противоположный угол, Фаюнин сурово вертит ручку телефона.)

Комендатуру. Фаюнин. Подожду.
(Повторный стук.)

Войдите.

(Это Таланов. Он очень теряется в своей новой роли просителя.)

Ай-ай, а супругу-то на кухне забыл, просвещенный человек!

Таланов. Я не в гости, я по делу, Николай Сергич.

Фаюнин (суше). Личному?

Таланов. Не совсем.

Фаюнин. Присядьте пока. (В трубку.) Не освободилась еще? Подожду. (Раздумчиво, глядя на стол.) Четверть века зажмурясь жил, в надежде: проснусь... и все позади. Отшумело, как дождь ночной. И солнышко. И яблонька в окошко просится. И раскрылись очи, и, эва, яства райские стоят, а на душе — ровно на собственные поминки попал. Как эта болезнь прозывается, доктор?

Таланов. Предчувствие, Николай Сергич.

Фаюнин. Предчувствие... (В трубку.) Спасибо, деточка. Битте, мне фирте нуммер нужен. Данке. (Почтительно.) Это помощник господина Шпурре? Фаюнин беспокоит. Да опять насчет новоселья-с. Обещались. Что?.. Плохо слышно, что? (Он трясет и дует в трубку.) Комендант тоже обещались... в целях поддержания авторитета градского головы. Да, кое-кто уже собирается. Что?.. Не слышу, не слышу, что? (Таланову.) Визг какой-то. И кричит-то как, послушайте-ка!

Таланов (склоняясь ухом к трубке). Это женщина кричит.

Фаюнин. Допрашивают... Ай-ай, и голос знакомый 'будто. (Озабоченно.) Ваша-то Ольга Иванна дома ли?

Таланов (вздвигнув). Была дома... а что?

Фаюнин. Ну и слава богу. (Бережно повесив трубку.) Не будем мешать им. Вот, я и готов, Иван Тихонович.

(Таланов собирается с силами. Фаюнин слушает, откинувшись к спинке, прикрыв глаза и играя цепкой часов.)

Таланов. Я пришел выразить свою глубокую обиду.

Фаюнин. Чем именно?

Таланов. Вам известно, что ко мне вернулся сын. Временно он живет у меня. Вчера он собрался в баню с дороги...

Фаюнин. С простреленной-то рукой? Ай-ай, не бережется наша молодежь... Вшноват, слушаю, слушаю!

Таланов (решась после промаха итти напролом). И тогда оказалось, что к моим дверям приставлена какая-то гнусная фигура... в шляпёнке да еще с обмороженными ушами.

(Фаюнин приоткрыл один глаз, глянул, словно клювом ударила, и снова замер. И только засуетившиеся пальцы обнаружив его вленье.)

Ясно, Федору стало противно... и он вернулся домой. (Горячо и убежденно.) Слушайте, Фаюнин. Мне шестьдесят. Меня никто никогда не трогал. И я прошу господ завоевателей оставить мою семью в покое и теперь!

(Он даже стукнул ладонью по столу. Фаюнин ловит его руку.)

Фаюнин. Да успокойтесь вы, Иван Тихонович. Голубчик, придите в себя, успокойтесь. Господи, да кто же все обидеть собирается! Людей-то ведь нету... я да Кокорышкин на весь город. Ведь вы, к примеру, не согласитесь у чужих ворот постоять... ведь нет? Ну, ест! Вот и берут всякую шваль. (Возмущенно.) Да еще с обмороженными ушами... ай-ай-ай! И вид из окна портит, да еще и заразу занесет. Скажу, непременно скажу, чтоб сменили...

(Часы-кукушка в соседней комнате глухо кричат шесть раз. Окончательно смерклось.)

Не идут гости-то. Вот вам и точность немецкая.

(Фаюнин намеренно молчит, а Галанов все не уходит. Его мучит подозрение, что Фаюнину что-то известно.)

Кстати, как решили насчет того письма?

Галанов. Это какого письма?

Фаюнин. Написали бы, говорю, а дочка ваша, Ольга Иванна, и отнесла бы, поскольку она и теперь с ним видается. С Андреем-то!... А вот и гости сползаются...

(Просочился откуда-то в щель длинный, стоячими волосами и в слежавшемся сюртуке господин артистической внешности, если только лошадям доступна эта деятельность. Он поклонился в пространство и сел, сложившись в коленях. Впорхнули — толстячок с университетским значком на толстовке под руку с вострушечкой в мелких бантиках. Они задержались у столика, а когда отошли — оказалось, что там уже обмахивается веером старушка в балльном платье, под которым видны подшитые валенки. Гости двоятся и троятся, как шарики под чашкой фокусника, переставляемой с места на место. И между всеми уже носится с одухотворенным лицом, теперь даже шаркающий Кокорышкин. Галанов кланяется. Фаюнин провожает его.)

А Федору Иванычу я пропуск выхлопочу. Пускай хоть ночью в баню ходит... (Засылав оживление в прихожей и валянув туда.) Я это ему, пожалуй, и сам скажу. (Уходя с Галановым.) Принимай гостей, Семей Ильич!

(Кокорышкин включает свет. Теперь видны и гости второго плана, уже плакатные, с ограниченными манекенными движениями. Нерусская речь из прихожей. Кокорышкин выглянул и даже будто уменьшился в размерах.)

Кокорышкин (молитвенно). Внимание, господа... Шпурре!

(Все взоры обращены к двери. Быстро входит Мосальский.)

Мосальский (конфиденциально). Господа... я должен предупредить друзей, что Вальтер Вальтерович является сюда сразу после работы. Вальтер Вальтерович не спал ночь. И потому лучше не раздражать его... громкой русской речью.

(Тишина испуга. Кое-кто попятился к дверям.)

Нет, зачем же... вы разговаривайте, общайтесь. Вальтер Вальтерович сам любит повеселиться.

(Все затановило дыханье. Мелким шагом, точно его катят на колесиках, вступает плотный, кубического сложения человек с желтоватым лицом, в штатском фиолетовых тонов и в обтяжку — костюме. Шея поворачивается у него лишь вместе с туловищем. На пиджаке, под сердцем Железный крест первой степени. Он останавливается и глядит. Кокорышкин приближается, делая изящные движения кистями рук, точно плывет.)

Кокорышкин (просветленно). Добро пожаловать, добро пожа...

(Это производит впечатление выстрела из пушки в упор. Вострушка ахнула. Середина сцены опустела. Рыжая щетка усов у Шпурре становится перпендикулярно к губе. Лицо меняет цвет. Он испускает странный свистящий звук. Помертвевший Кокорышкин пятится назад.)

Извиняюсь, нет, нет...

Шпурре (шагнув на него, как в пушту). Ah, Himmelsarschl!

(Кокорышкин жметя к столу, падают позади него бутылки. В его лице закаменелое выражение какого-то смертельного восхищения. Шпурре запускает ему ладонь за стоячий воротничок. Суматоха.)

Колесникофф?

(Он, как перышко, поворачивает Кокорышкина спиной к двери и ведет его в вытянутой руке. Они уходят ритмично, как в танце: нога-в-ногу и глаза-в-глаза. Кокорышкин не сопротивляется, он только очень боится наступить на ногу Шпурре. Процентова тридцать пять он уже умер. При выходе, как дитя, перенимает рослый динст-фельдфебель. Затем карьера Семена Ильича идет много быстрее. Откуда-то сквозь стену доносится его славенный и скорее всем удивленный вопль: «Николай Сергеевич!», и все стихает. Самый выстрел похож на то, будто кто-то гулко кашаянул на улице. В ту же минуту, покусывая усы, возвращается Фаюнин. Он с первого взгляда понимает все.)

Фаюнин (поискав глазами). Тут у меня старичок был такой. Где ж это он?

Гость-Лошадь (басом). Прекратится старичок.

Мосальский (нервно поламывая пальцы). Пустили бы какую-нибудь музыку, господа.

(Кто-то запускает аристон. Погромыхивая на стертых валах, звучит полька-пиччикато.)

Шпурре вернулся.)

¹ Солдатское ругательство.

Шпурре. Уфф! (И, странно, из него выходит дым при этом.) Он... пошел... домой. (С юмором.) Немножко!

Мосальский (тихо). Das war eine alte russische Redensart.¹

(Мгновение Шпурре быковато молчит, потом раздражается громовым смехом. Тогда уже все начинают подсмеиваться над блистательной неудачей Кокорышкина.)

Шпурре (хохоча). Redensart! Na, Trottel!²

(Входят три немецких офицера. Фаюнин аплодирует, гости следуют его примеру. На губах переднего офицера родится язвительная усмешка.)

1-й офицер. Das ist ja das reinste Paradies.³

2-й офицер. So fern's im Paradies Bordelle gibt.⁴

3-й офицер (явно под хмельком). Aber wir sind, scheint, in die Abteilung für Pferde geraten!⁵

(Они залпом и металлически смеются. Шпурре скосил глаза.)

Шпурре (ворчливо). Hier hängt das Bild des Führers, meine Herren!⁶

(Струхнув, офицеры отходят в сторону. Их привлекает вострушка в бантиках, к неудовольствию тоастячка. Мосальский жестом подзывает Фаюнина.)

Мосальский. Тебе лично известен весь этот зверинец?

Фаюнин. Помилуйте, Александр Митрофанович. Промышленность, адвокатура-с! Даже бас имеется, только прославиться не успел.

Мосальский. Отвечаешь за благополучие вечера. Шампанское в доме найдется?

Фаюнин. На столе-с. Победы ждут, извиняюсь, али приезжает кто?

Мосальский. Я скажу. Командант будет через четверть часа. Приглашай к столу.

Фаюнин. Прошу дорогих гостей закусить чем бог послал.

(Орава движется к столу. Влево от кресла, предназначенного для Виббеля, садится Шпурре. Пространство вокруг него знаменательно пусто. Мосальский кладет перед ним часы и стучит ножом о бокал, требуя внимания. Это приходится повторять, так как один офицер через стол рассказывает другому анекдот: «Ach, übrigens... Kennen sie schon den neuen Witz? Also zu einem Mädchen kommt eine Jude...!» Тот уже хохочет.)

Мосальский. Хозяин просит налить бокалы.

(В тишине булькает разливаемое вино.) Господин командант, который уже вышел сюда, поручил мне сказать эту речь. Времени нет, господа, я буду краток. (Шпурре.) Можно говорить по-русски?

(Тот монументально кивает головой.) Сейчас, господа, когда мы так приятно сидим у радушного хозяина, пишется последний абзац исторической справедливости. Германская раса, как в бутылку запертая славянами в старой тесной Европе, вышибла пробку и стремительно потекла на восток, неся новый порядок и повелевающую волю. В эту минуту мы ожидаем телефонных сообщений колоссального значения...

Шпурре. Zeit!² (Среди тишины он по прямой идет к телефону и выжидательно кладет руку на рычаг.)

Мосальский (звеняще). Ржавый замок, тысячу лет провисевший на воротах Востока, взломан. Господа... сейчас взята Москва!

(Фаюнин украдкой крестится, Артист-Лошадь вытирает лоб громадным носовым платком. Стоя, все берутся за бокалы. Телефонный звонок. Шпурре срывает трубку.)

Шпурре. Hier Hauptmann Spurge. Wer dort?¹ (И вдруг, почти наваливаясь на аппарат.) Ermordet... wen? Uff! Wer poch? Lorenz, Pfau, Mülle... Ja!³

(Откинув стулья, офицеры обступают Шпурре.)

Фаюнин (поталкивая Мосальского). Что, что там? Эх, спросить бы его, стоят ли еще московские-то соборы?

¹ Кстати, знаете новый анекдот? К одной девушке приходит еврей...

² Время!
³ У телефона Шпурре. Кто говорит? — Убит... Кто? Уфф! Кто еще? Лоренц, Пфau, Мюлле... Да!

¹ Это было старинное русское выражение.

² Выражение? Ха, идиот!

³ Да это просто рай.

⁴ Если только в раю имеются бордели.

⁵ Не, видимо, мы попали в лошадиное отделение!

⁶ Здесь висит портрет фюрера, господа.

Мосальский (переводя междометия *Шпурре*). Тихо!.. Виббель убит. И с ним трое, из штаба. По дороге сюда (Фаюнин схватился за голову.)

Шпурре. Wer ist der Töter? (*Яростно*.) Antworten sie auf meine Fragen und stottern sie doch nicht so, Waschlappen. Einer? Jawohl. Na, sechs Schüssel!¹

Мосальский (для Фаюнина). Стрелял один. Шесть выстрелов... К черту руку!

(Фаюнин отдергивает руку от его локтя. Тем временем артист-лошадь под шумок подносит бокал к губам. Мосальский с силой ударяет его по руке.)

За что пьешь, скотина?

Артист-Лошадь (оскорбленно). Как вас понимать... в переносном смысле или буквально?

Мосальский (сквозь зубы). Буквально. Понимать.

Артист-Лошадь (страхивая брызги с сюртука). Ну, тогда другое дело.

(*Шпурре* шипит на них. Вид его страшен, воротник ему тесен. Гостей сразу становится вдвое меньше. Они растушевываются так же незаметно, как и появились.)

Шпурре. Haben sie ihn geschnappt? So, richtig. Ich bleibe hier. Bringen sie ihn her!²

(Он вешет трубку и валится на случайный стул, одиноко стоящий посреди. Офицеры уже стоя и пальцами подкрепляют силы у стола.)

Raus mit der Bande da!³

Мосальский (гостям, толпящимся у двери). Здесь будет происходить допрос, милорды. Продолжение увидите на площади. Покойной ночи, господа.

(Он сам выпроваживает гостей. *Шпурре* недвижим. Кого-то ударили в прихожей. И тогда, не подозревая о случившемся, являются запоздавшие гости: муж и жена Талановы.)

Таланов. Гостей еще принимают, Николай Сергееч?

¹ Кто свелеля? — Отвечать на вопросы и не заикаясь, тряпка. Один. Конечно. Шесть выстрелов!..

² Схватили его? Так. Я буду здесь. Достаньте его сюда!

³ Вон эту сволочь!

Анна Николаевна. Федор придет попозже. Ему делают перевязку. (Фаюнин скользит к ним, прижав палец к губам.)

Фаюнин. Слышали, камуфлет какой? Виббеля угрожали. И не пикнул. И с ним еще шестерых. Допрыгались!

Анна Николаевна. Не может быть... Это ужасно!

Фаюнин. Десять пуль, одна в одну всадил. Наповал.

Таланов. Кто же это, кто стрелял-то?

Фаюнин. Должно быть, этот... не то Обозников, не то Хомутников. Ай-ай, Виббеля-то как жаль. В Амстердаме и сейчас еще его постановленья на стенках висят. И угодил сразмаху в русскую крошку!

Таланов (берясь за скобку). Нам тогда, пожалуй, лучше...

Фаюнин (преграждая выход). Наоборот, самое интересное начинается. Сейчас его сюда приволокнут. (*Кивнув на Шпурре, сидящего к ним спиной.*) Самому невтерпех стало взглянуть, что такой за Тележников. Присаживайтесь тихонько в уголок.

Шпурре. Tisch. Papier.¹

(Он не меняет позы мешка с мукой, врось поставленного на стул. К нему приставляют ломберный столик, приносят чернильницу, бумагу, графи с водой, расставляют стулья для участников предстоящего допроса.)

Nehmen sie Plätze, meine Herren!² (Офицеры, дожевывая, занимают места. Грохот сапог и стук оружия. Деловито возвращается Мосальский.)

Мосальский (к *Шпурре*). Он здесь. Разрешите ввести его?

(Тот делает движение указательным пальцем. Склонившись, Мосальский уходит. Солдаты занимают места у выходов. Команда, потом слышен надрывный, уже знакомый кашель. Анна Николаевна тревожно поднимается навстречу звуку, — Таланов едва успевает удержать ее. В ту же минуту быстро вводят Федора. С непокрытой головой, в пальто, он своеобразно прячет платок в рукаве. Он кажется строже и выше. С каким-то

¹ Стол. Бумагу.

² Займите места, господа!

обостренным интересом он оглядывает комнату, в которой провел детство. Конвойный офицер кладет перед Шпурре пистолет Федора и на ухо сообщает дополнительные сведения при этом. Тишина, как перед началом обедни. Шпурре обходит свою жертву, снимает неприметную пушинку с плеча Федора, потом в зловещем молчании садится на место.)

Шпурре (Мосальскому). Verhöre sie ihn!¹

Мосальский (со злой и подчеркнутой вежливостью). Встаньте дальше.

Федор. Не бойтесь. У меня все отобрали.

Мосальский. Встать дальше.

(Федор отступает на шаг, зябко потирая руки.)

Рекомендую отвечать правду. Так будет короче и менее болезненно. Это вы стреляли в германского коменданта?

Федор. Прежде всего я прошу убрать отсюда посторонних. Это не театр... с одним актером.

(Обернувшись в направлении его взгляда, Мосальский замечает Талацовых.)

Мосальский. Зачем эти люди здесь?

Фаюнин (привстав). Свидетели-с. Для опознания личности изверга.

Мосальский. Я разрешаю им остаться. Займите место ближе, мадам. Вы тоже... (указав место Таланову) сюда! (Федору.) Имя и фамилия?

Федор. Я хочу курить.

(Мосальский смотрит на Шпурре. Тот делает разрешительное движение пальцем. Держа папиросу за табак, Мосальский протягивает ее Федору.)

И спичку.

(Шпурре усмехнулся. Мосальский водносит спичку. Они смотрят в глаза друг другу. Огонь жжет пальцы, но ненависть еще сильнее. Мосальский отворачивается, когда падает свернувшийся уголек спички.)

Фаюнин (в величайшем оживлении). Видать, закоулистый господин!

Шпурре. Weg ist der Mann?²

Мосальский. Итак, кто вы?

Федор. Меня зовут Андрей. Фамилия моя — Колесников.

(Общее движение, происходящее от одного гипноза знаменитого имени. Анна Николаевна подняла руку, точно хочет остановить в разбеге судьбу сына. «Нет, нет... Шпурре вопросительно, всем туловищем, повернулся к ней, — она уже справилась с собою.)

Записывайте, второй раз повторять не стану.

Мосальский (с сомнением). Это точно... ваша фамилия?

Федор. Думаете, что я хочу присвоить себе честь поболтаться за него на виселице? Это, пожалуй, слишком высокая честь для самозванца.

Мосальский (офицеру). Bitte, schreiben sie auf!¹ (Федору.) Ваше звание, сословие, занятие.

Федор. Я русский. Защищаю родину.

Мосальский. Я понимаю, но... нам нужно знать вашу последнюю должность.

(Молчание.)

Фаюнин. Разрешите пояснить. Председатель уездной советской власти. (Мосальский вполголоса диктует офицеру, который записывает.)

Точно-с. Вот, хоть и господина Таланова спросите. Им, как врачу, все жители известны.

Мосальский. Вы подтверждаете?

Таланов (не очень уверенно). Да... мы встречались на заседаниях.

Фаюнин. И мамашу спросите заодно.

(Мосальский переводит глаза на Анну Николаевну.)

Анна Николаевна (не отрывая глаз от Федора). Да. И хотя, мне кажется, десять лет прошло с последней встречи, я узнаю его. Я могу уйти?

Мосальский. Еще минуточку, мадам.

(Талановы сели.)

Шпурре. Wieviel Mann hat er gehabt?²

Мосальский. Сколько людей стояло...

Федор. Я понял вопрос, офицер. Нас было пятеро.

(Шпурре жмурится в усмешке.)

Мосальский (почти вкрадчиво). А вы не ошибаетесь, господин Колесников?

Федор (в тон ему). Да нет, я в арифметике силен.

(Все кратко посмеялись.)

¹ Допрашивайте его.

² Кто он?

¹ Пожалуйста, записывайте!

² Сколько людей у него было?

Мосальский. Но ваши люди действовали одновременно в десяти местах. Минимально мы считали вас за тридцать-сорок.

Федор. А это мы так хорошо работали, что вам показалось за сорок. (Сдержанно.) Погодите, когда их останется четверо, они померещатся вам за тысячу.

(Фаюнин возмущенно потакивает вбок Таланова, — какова, дескать, дерзость!)

Мосальский (подавив в себе ярость): Если ты не перестанешь скалиться, потаскуха, я сам сдеру этот смех с твоей морды...

Федор (так же негромко и с потемневшими зрачками). Это твоя мама обучала тебя на чужбине русскому языку?

(Шпурре бьет кулаком по столу. Звон стакана о графин. От прежней элегантности Мосальского не остается и следа. Со словами «скорой смерти ищешь, дьявол?» он пружинно подпрыгивает и, схватив пистолет за ствол, кидается к арестованному. Два солдата пригнувшись со спины, выпрямляют Федора. Нахмурив брови, Анна Николаевна безотрывно смотрит в лицо сына.)

Фаюнин (вцепясь в локоть Мосальского). Только не здесь, Александр Митрофанович, ради Христа, миленький... не здесь! Тут же еда, вы мне всю обстановку забрызгаете. Там у нас тихий чуланчик есть... Александр Митрофанович!

(Шпурре также показывает жестом, что делать это предпочтительнее там. Федора уводят.)

Анна Николаевна. Если не уйти... то хоть отвернуться я могу, господин офицер? Я не люблю жандармских удовольствий.

Мосальский (смешавшись). Вы свободны. Благодарю вас, мадам.

(Он спешит догнать ушедших.)

Анна Николаевна. У меня закружилась голова. Проводи меня, Иван.

(Она видит обрешенный на полу платок Федора. Вот она стоит над ним. Она поднимает его. В его центре большое красное пятно. Все смотрят. Она роняет платок обратно.)

И тут кровь. Какая кровь над миром!..

(Фаюнин любезно провожает Таланова до дверей. Анна Николаевна уходит первой.)

Фаюнин. Железная у тебя старушка, доктор. Ты послабже будешь!

(И враз притворил за ним дверь. Исподлобья поглядывая на телефон и внезапно меняя направления, Шпурре ходит по комнате. Он даже берет трубку, свистит, стучит по ящику, как бы стремясь разбудить в нем голоса победы. Потом очень обеспокоенный Мосальский вводит мотоциклиста. Отдание чести. Из громадного штабного конверта Шпурре извлекает крохотную, в несколько слов, записку. Он вертит ее в руках. Мосальский воровски заглянул через плечо. В его лице отразилась растерянность.)

Шпурре. Verhör vertagen.¹

(Уходит мотоциклист. Удаляются офицеры. Ковный командир снимает караул — «Wegtreten, marsch!»² Шпурре все еще смотрит в записку.)

Фаюнин. Ай новости есть, милый человек?

Мосальский (торопливо застегивая запонку на руке). Не пришлось бы тебе, Фаюнин, где-нибудь в канаве новоселье справлять. Плохо под Москвой.

Фаюнин (зловеще). Убегаете, значит... милый человек? А мы?

(Уходит Мосальский. Шпурре все стоит. Фаюнин осторожно, чтоб разведать обстановку, подходит к нему с бокалом вина.)

Не позволяйте винца... для поддержания сил?

(Точно не узнавая, Шпурре смотрит на него сверху вниз и вдруг хватается за плечи. Это разрядка бешенства. Оба бормочут что-то, Шпурре и Фаюнин, раскачивающийся в его лапах. Вино расплескивается из бокала. Откинув градского голову в кресло и оглашая тишину одышкой, Шпурре покидает гостеприимного именинника. Фаюнин долго сидит, зажмурясь; судьба Кокорышкина еще витает над ним. Когда он открывает глаза — в меховой куртке, одетой на одну руку, другая на перевязи, перед ним стоит Колесников и с любопытством разглядывает его.)

Колесников. Шею-то не повредил он тебе?

(Фаюнин шурко смотрит в него.)

¹ Допрос отложить на завтра!

² Команда.

Я бы и раньше зашел, да вижу — ты с гостем занят... *(И показал жестом.)* Мешать не хотел.

Фаюнин *(с ядом)*. В баню, что ль, собрался, сынок?

Колесников. Уходить мне пора. Засиделся в отцовском доме.

Фаюнин. Посиди со стариком напоследок... Федор Иванович.

(Колесников садится: задуманное предприятие стоит своих задержек.)

Поближе сядь.

Колесников. Поймали, слышать, злодея-то. Что ж не радуешься?

Фаюнин. Задумался я, Федор Иванович... Как отступали красные-то, я эдак при обочинке стоял. Тишина, кашлянуть страшно. А они идут, идут... И не то зубы, знаешь, не то снег под лыжами поскрипывает. Тут соскочил ко мне паренек один в шинелке, молоденький, обнял, дыханием обжег... «Не горюй, говорит, дедушка. Русские вернуться. Русские всегда возвращаются...» *(Поежась.)* Как полагаешь, сдержит свое слово паренек?

Колесников. Тебе видней, Николай Сергеич. Не меня паренек-то обнимал.

Фаюнин. И вспомнилось еще, как зайдешь, бывало, в дворницкую, к родителю твоему, — «запрягай, Петруха, рыженькую, а впристяжку Гамаюна да Сербянку возьми!» Вскинет он кафтанешко, кушаком опояшется, ровню пламенем... да как вдаримся с ним во льны, в самый ветер луговой.. Э-эх!

(Ничто не изменилось в позе Колесникова, равно и в лице Фаюнина, раскрывающего свои карты.)

Мы Петра Колесникова не забижали. К праздникам обновки, малюточкам сластей. *(Толкнув в колено.)* Ай забыл фаюнинские прянички?

Колесников. С кем говоришь, Николай Сергеич? Невдомек мне.

Фаюнин *(строго)*. Бог тебя нонче спас. Бог и я, Фаюнин. Это мы с ним петелку с тебя сняли.

(Два громких аккорда на талановской половине, и потом музыка, почти затухающая порюю.)

Железная старушка играет. Доказать

мне стремится, что не жалко ей родимого сынка... *(Тихо.)* Сдавайся, Андрей Петрович. Ведь я тебя держу.

(Колесников стремительно поднимается, оглянулся. В залитом луною инейном окне стояла тень в шлеме и со штыком и снова двинулась взад-вперед. Тогда он садится и закуривает.)

Колесников. Куда уж сдаваться. И так в паутине твоей сижу. Сказывай, зачем звал!

Фаюнин. В непогодную ночь мы с тобой встrelись. Какие деревья-то ветер ломит, оглянись. И мы с тобой в обнимку рухнем посередь людского бурелому... А, может, полюбовно разойтись?

Колесников. Так ведь не пустишь, хорь.

Фаюнин. Милый, дверку сам открую... А как вернется паренек в шинелке, и ты мою старость приютишь. Не о фирме мечтаю. Не до легионов Ниноны: сыновья на отцовские кресты ложатся мертвым сном спать! Хотя бы конюхом, аль сторожем на складе... Мигни и уходи! *(Помолчав.)* Выход только в эту дверь. Там не выйдешь!

Колесников. Значит, бьют ваших под Москвой... русские-то?

Фаюнин. Все, весна и жизнь, лежат перед тобою. Нюхни, сынок, пахнут-то как! Хватай, прячь, дарма отдаю... ночь, ведь, ночь, никто не услышит нас.

(Глубоко, во всю грудь затягиваясь, Колесников курит папироску.)

Сыми веревку-то с Ольги Ивановны... Шаршавя!

(Он отваливается назад в кресло. Колесников тушит окурки о каблук.)

Колесников. Да, вернется твой паренек, Николай Сергеич. Уж в обойме твоя пуля и в затвор вложена. Предателей в плен не берут.

...думалось мне сперва, что обиду утолить на русском пожарище ищешь. Гордый три раза смертью за право мести заплатит. А ты уж все простил. Нет тебя, Фаюнин. Ветер войны поднял тебя, клуб смрадной пыли...

Кажется тебе — ты городу хозяин, а хозяин-то я. Вот я стою — безоружный, пленник твой. Плечо мое болит... и все-таки ты боишься меня. Трус даже

и в силе больше всего надеется на милосердие врага. Вот, я пойду... и ты даже крикнуть не посмеешь, чтоб застрелил меня в спину немецкий часовой. Мертвые, мы еще страшной, Фаюнин. (Ему трудно застегивать куртку одной левой рукой.) Ну, мне пора. Заговорился я с тобой. Меня ждут...

(Он выходит. Без движения, остаревший и маленький, Фаюнин глядит ему вслед. Кукушка кричит время. Вопль вырывается из

Фаюнина. В прыжок он оказывается у телефона.)

Фаюнин. Командатуру. Разъединить! Здесь Фаюнин. (Крутя ручку телефона.) Врешь, мой ножик вострей твоего, врешь... (В трубку.) Цвай. Это Шпурре? Фаюнин здесь. Давай миленький, людишек быстренько сюда... я тебе подарочек припас... то-то! (Бросив трубку.) За нею-то вернешься, сынок. Ой, ночь длинна, ой не торопись с ответом!

Конец третьего действия

★

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Подвальное складское помещение, приспособленное под временную тюрьму. Два полукруглых окна под тяжелым сводчатым потолком. Одно забито вглухую, с дощатыми склизмами, по которым спускали товар: другое — веселое, в розовой оторочке от недавней метели. Там, вверху, редкий для декабря, погожий полдень. Блики солнца, точно задуваемые ветерком, мерцают на кирпичной выбеленной стене со следами надписей «Лукоянов 1907», и еще «не курить а кто заку 1 ру». Ниже, в сумерках, за уступом стены, виден сквозь дверь с копейчатой, церковного образца, решеткой — немецкий часовой; на крюке у него русский лабазный фонарь. Это часть подвала; другая, соединенная низкой аркой, направо, во мраке. На нарах, сооруженных из разнокалиберной ящичной тары и рогож, разместились люди, которым назначено провести здесь остаток последнего дня. Старик в кожухе, — и, прижмурив к его плечу, дремлет мальчик в лаптках; рябой Егоров, громадный и беспокойный, ходит взад-вперед, словно ищет выхода из этой братской ямы; Татаров стоит на ящике у стены с заманутыми тряпьем пальцами, — время от времени он коротко и зло встряхивает ими; Ольга в меховой жакетке, горячо, и, видимо, напрасно, убеждает в чем-то все время зябнущую женщину в мужском пальто; сумашедший с обмороженными ушами и в заерзанной шляпе пирожком... Другие без движения лежат на нарах. Что-то неравномерно гудит над головой, и, притуляясь на рогожке у стены, сумасшедший томительно вторит этой почти музыкально-чистой ноте. На фоне этих двух сливающихся звуков солдат за дверью тянет старую окопную песню:

Steh ich in finstrer Mitternacht
So einsam auf der stillen Wacht,
So denk' ich an mein teures Lieb,
Ob sie mir treu und hold verblieb...

Татаров (подняв обе руки открытыми ладонями в солнечный блик над головой). А щекочет солнышко-то, пробирается. Я так думаю, что ежели год целый, день и ночь, держать их в солнышке, так поправились бы пальчики мои... а?

Ольга. Не думай о них, Татаров. Не так больно будет. Рассказывай дальше-то!

Татаров (его ярит непрерывная боль). Ну, тут кэ-эк п-у-стит он меня по всей немецкой матушке... «Это ты,

кричит, Татаров... ты, потаскуха, вместе с Колесниковым эшалаон под огком пустил?» Может, и пустил бы, отзечаю, да времени не было. Враз за всем не угонишься! А Колесников, спрашиваю, кто таков?.. «Ну, смеются, сейчас мы тебе копию его покажем. Привести». А пока опять за дело принялись. И обращенье враз стало такое вежливое...

Егоров. Нация культурная. У них ведь как: скурочка наземь не кинешь. Кинул — сейчас с тебя штраф, семь копеек.

Татаров. Во-во! «Положите руку на стол. Пальчики раздвиньте». А я уж и боли не чувю. Эх, заарканили, думаю, милого дружка!.. И до третьего еще не добралась, слышу — ведут. Вижу краешком глаза, кто-то еле ноги переставляет, а глаз поднять не смею... струсил, все во мне повяло. А потом ка-ак махану глазами-то, так сердце во мне...

Егоров (с надеждой). Не он?

(Татаров покосился на сумасшедшего, вдруг прекратившего свое нытье и раскачиванья. Все повернулся к нему лицом, — тот еще усерднее возвращается к прежнему занятию.)

Ольга. Не интересно это, Татаров. Право же, не интересно.

Егоров (резко). А по-моему, Ольга Иванна, так очень даже завлекательно.
(Молчание.)

Татаров (разглядывая закутаные пальцы). Уж и мастеровиты были: все могли. Валенки тебе обсоюзить, конька взнуздать, танец на гармонии изобразить... Стрелять тоже умели. (Мечтательно.) Эх, в тихий бы, тихий вечер, когда цветики на ночь засыпают, встретиться мне с этим боровком у овражка, один на-один. И не надо мне ничего, ни твоего вострого ножичка...

Егоров. Та-ак. Еще чего тебе желательнее?

Татаров (виновато). Тоже щец бы с капусткой напоследок похлебать.

Егоров. Еще! Ты заказывай, не стесняйся.

Татаров. Посмотреть тоже охота, что там, на воле-то, делается.

(Егорова поднял голову к окну.)

Егоров. Вот это можно. Сейчас узнаем, что на свете новенького. (Он составляет ящики один на один.)

Старик. Тогда уж парнишку моего снарядим. Он полегше.

Егоров. Не буди. Больно спит-то сладко.

Старик. Ничего, он привышный у нас. (Тормоша мальчика.) Прокофий, Прокофий... полно на коньках-то кататься. Ишь, нос обморозил совсем. Очкнись!

(Мальчик протирает глаза.)

А ну, полезай за новостями наверх. Мир просит.

(Часовому не видно за выступом стены, как мальчик карабкается к окошку. Старик снизу поддерживает это шаткое сооружение.)

Прокофий. Ух, снегу намело-о!

Егоров. Ты дело гляди. Столбы-от стоят?

Прокофий. Не видать. Тут какой-то шут ноги греет.

(В окно видно: рядом с неподвижным ружейным прикладом беззвучно топчутся две измятых немецких ноги в военных обмотках.)

Пляши, пляши, подождем.

(Он даже припевает: «у-торвали от жилетки рукава, уторвали от жилетки рукава»... Движенья ног и припев, к общему удовольствию, совпадают.)

Старик. Не озоруй, парень. Услышит.

(Ноги, наконец, отошли.)

Прокофий (удивленно). На кафель похоже, дедушка.

Татаров (зло и негромко). Не туды смотришь. В небо выглянь: чье гудят-то... Наши аль ихние?

(И тотчас же доносится отдаленная стрельба вениток.)

Прокофий. Тоже, спрашивает. Рази они по своим станут палиты! (Старику.) А боле ничего, дедушка. Только воробьев масса летает.

Старик. Слезай, еще застрелит. (Мальчик спускается во время. Шаги на лестнице. Звон ключей. Татаров произносит мельком: «Это правильно, в тюрьме всегда должны ключи звенеть. Я в описаниях читал». Все, кроме сумасшедшего, уставился на дверь. Ольга выглянула на лестницу.)

Ольга. Спокойствие, товарищи, спокойствие. Кажется, Колесникова с допроса ведут.

(Гремит засов. Конвойные вводят Федора. Кроме надорванного рукава, внешнего ущерба на нем не видно. Пиджак накинут на плечи. голова склонена набок. Прислонив его к стене и удостоверившись, что стоит прочно, конвойные удаляются.)

Ольга. Товарищи, помогите кто-нибудь довести его до койки.

(Никто не смотрит на Федора. Ольга одна идет к нему.)

Егоров (вполголоса). Это он?

Татаров. Он.

Егоров (иронически). Шибко изменился Андрей Петрович. Не признаешь.

Ольга (точно будя спящего.) Андрей, Андрей... посмотри на меня. Это я, Ольга. Ну, что, что там было? Нам показалось, ты год там пропал.

Федор (взглянув на сестру). Длинный... разговор был.

Ольга (не выдержав его взгляда). Пойдем, я уложу тебя.

(В молчании Ольга отводит его на свое место у стены. Она помогла ему взвалить на койку отяжелевшие ноги и сама присела рядом. Вся камера украдкой наблюдает за ними.)

Лежи, теперь тебе надо отлежаться. А пока я зашибу тебе пиджак.

Федор. Лишняя роскошь теперь, Ольга.

Ольга. Колесников всегда должен быть спрятан. Даже сегодня, даже там. Пусть никто не увидит, как это трудно... быть Колесниковым. Давай сюда пиджак... (Она снимает с себя жакетку и накрывает ему грудь). Лежи. Так надо.

Егоров (Татарову). Эй, герой... не видишь, что делается?

(Татаров быстро сдергивает с себя шинельку и остается в одной коچهгарской тельняшке.)

Татаров. Накинь на него лучше душегрейку мою, Ольга Иванна. Простудишься!

Ольга. Спасибо, Татаров. А сам?

Татаров. Я теплый. Об меня сейчас прикуривать можно, во! (Подойдя к койке.) Здорово, товарищ Колесников. Не признаешь дружка? А вместе за смертью-то рыскали.

Ольга. Оставь его, Татаров... потом! (Накрывая шинелью.) Хочешь пить? Можно достать снега.

Федор. Нет, мне хорошо. Я даже кашлять перестал. (Улыбнувшись.) Должно быть, выздоравливаю. Накрой меня с головой.

Ольга. Зачем?

Федор (подражая ей). Так надо.

(Она исполняет его желание.)

Ольга (женщине). Вы помянули, что у вас иглока есть. Дайте... О, и с ниткой!

(Она принимается за работу. Подошел Егоров.)

Егоров (глядя на ее проворные руки). Ты что-то путаешь нас, Ольга Иванна. Колесникова я с малых лет знал... и мать его, и деда.

Ольга (понижив голос). Этот человек умрет сегодня первым.

Татаров (надменно). Что ж, это большая честь: умереть Колесниковым.

Ольга. Идите в угол, зовите других. Я подойду туда сейчас.

Женщина. Ступайте, Ольга, я сама зашибу. Надо же что-нибудь делать, делать, делать...

(Ольга передает ей работу. Люди собираются в углу под окном. Сумасшедший проявляет признаки беспокойства. Совецание началось. Часовой снова затянул песню:

Als ich zur Fahne fortgemüst
Hat sie noch einmal mich geküst
Mit Blumen meinen Hut geschmückt
Und liebend mich aus Herz gedrückt

(Прокофий открывает глаза.)

Прокофий (не поворачивая головы). Дедушка, а дедушка...

Старик. Чего не спишь, человек?

Прокофий. Дедушка... это больно?

Старик. Это недолго, милаый (С суровой нежностью.) Зато с кем сравниешься? Поди, проходили в школето и про Минина Кузьму, и про Сусанина Ивана?

(Прищурив глаза, Прокофий смотрит в пространство перед собой.)

То бородачи были, могучие дубы. Какие ветры о них разбивались! А ты еще отрок, а вровень с ними стоишь. И ты, и ты землю русскую оборонял. Вот ты сидишь, коньки твои отобрали, сон тебя бежит. А уж Сталину про тебя известно. Ему только виду показывать нельзя, его должность строгая. Послы держав пред им чередуются, армии стоят, генералы приказов ждут... все народ бывалый, неулыбчатый. Тут уж бровинкой не шевельни!.. А внутри, одна дума, что томится в лукояновском подвале русский солдат тринадцати годков, Статнов Прокофий, ожидает казни от ерманского палача...

Прокофий (оживясь). Дедушк... ем у по телефону доложат аль по радио. Думается, по радио быстрее, а?

Старик. Нет, человек. Про это по прямому проводу, из сердца в сердце передают.

(Совещание окончилось. Мальчик снова закрыл глаза.)

Егоров (проходя мимо старика). Внучек, что ли?

Старик. Еще родней, человек. Внучком-то он мне и раньше был.

Татаров. На войне вся родня.

Егоров. На чем зацапали с мальцем-то?

Старик. Прошибка у нас вышла. (Он мигнул на сумасшедшего, вновь прекратившего свои упражнения.) Собачка, вишь, у нас проголодалась. И пошли мы на речку, грибок для ей наловить. Да, глядим, ухо из сугроба торчит. А при ухе гражданнишко, паршивый такой, земли своей падаль...

Егоров (громко). Вот бы ухом-то собачку и покормить!

(И опять сумасшедший старательно делает свое дело. Егоров садится возле Федора. Он говорит с ним, не открывая его лица.)

Что, товарищ... болит?

Федор. Теперь лучше, согрелся.

Егоров. А ты не стыдись. Это больно, когда бьют. Кого хошь спроси, всех били. Били тебя, Татаров?

Татаров. По телу нет. Только вот... маникюр делали.

Егоров. Слышал? И Катерину Петровну не пожалели... а надо бы: она не одна. До Ольги Ивановны еще дойдет черед. (Так, обводя глазами камеру, он доходит до сумасшедшего.) А того дядьку до безумия заколотили. Ишь, качается... Эй, шляпа, били тебя?

Сумасшедший (плачевно). Били...

Егоров (подмигнув товарищам). По большой били, аль по маленькой?

(Тот уже раскаялся в своем промахе. В подражание куриному перышку, засунутому у того за ленту шляпы, Егоров свет за ухо себе пучок соломы и присаживается на корточки рядом.)

Ты какой же... тихопомешанный, аль бурный, вроде меня? (Жестко.) Я не люблю, когда со мной молчат! Давно спятил-то?

Сумасшедший. Во вторник два месяца будет.

Егоров. Давно-о! Мой стаж меньше... я еще любитель, так сказать. Зато, порой, такое на меня вдохновение находит, что как стукну много подлеще, промеж бровов... остается сильное впечатление на всю жизнь. (Поднеся кулак к его глазам.) Посмотри, какая прелесть! (Поднявшись, другим тоном.) Нам тут надо заседание провести. Сядь у двери и скули пошибче, чтоб часовой не скучал. Все, пошел!

(В мгновение ока сумасшедший переселяется с рогожкой на указанное место.)

И какая-то несчастная песенкой тебя баюкала, у бога счастья для тебя просила... (Всем.) Начнем, товарищи?

Ольга (приоткрыв лицо Федора). Ты не задремал, Федя? Друзья твои хотят поговорить с тобою. (Она помогла ему надеть пиджак.) Можно и лежать, Федор.

Федор. Нет, я хочу сесть. Помогите мне.

(Он спускает ноги. Татаров снова надевает шинель.)

Егоров (с горечью). Президиума выбирать не станем? Пусть будут там те, кто раньше нас, в самые черные дни, отдал жизнь за это. За самое дорогое на свете... Еще один человек стучится к нам, товарищи. Ольга Ивановна рассказала вам про него.

(Внезапное гуденье самолета, прошедшего на бреющем полете. Пулеметная очередь. Единодушный вздох, и вдруг женщина кричит наверх, запрокинув голову и разрывая платок на себе.)

Женщина. Отомстите за нас, отомстите... Убивайте убийц, убивайте убийц!!

(Все сдвигается с места, кроме мальчика, который сурово из-под приспущенных век смотрит на обезумевшую. Зашевелилось за дверью, шелкнул затвор винтовки, к решетке приткнул часовой. Ольга торопится отвести женщину на другую сторону камеры. Приходит успокоение. Мальчик закрывает глаза.)

Татаров (ворчливо). К порядку, товарищи, к порядку.

Егоров (спокойно). Этот человек дважды просился к Андрею в его парти-

занскую дружбу. Андрей проявил осторожность, обязательную для всех нас. Оставшись один, этот человек вел себя хорошо. (*Чуть повысив голос.*) Он убивал убийц, ворвавшихся в наш дом. Когда Андрей выбыл, он взял на себя его имя...

Ольга. И не уронил его.

Егоров. ...и не уронил его. С великой болью Андрей принял эту жертву для общего дела. Будем кратки: нас могут прервать любую минуту. Кто имеет вопросы к товарищу?

Татаров. Я хочу. (*Федору.*) Вот, она сказала, что когда ты вышел ночью от отца, у дверей стоял тот самый, в шляпе с перышком. А ты сообразил, будто, и решил дать время Андрею уйти. Верно это?

Егоров (*Федору*). Ответишь?

Федор. Да... Неверно это. А просто спеклось все во мне... после Аниски. Я себя не помнил, вот.

Татаров. А ты не из обиды Колесниковым стал? Не хочешь, дескать, живого принять, примешь мертвого. Полюбуйся, мол, из папашина окошка, как я на качелках за тебя покачаюсь... Так нам таких не надо!

Ольга. Объясни, Федя, почему ты принял чужое имя.

Федор. Мне казалось (*и в его улыбке явилось что-то от того мальчика Федя на разбитом портрете*)... что им еще страшнее станет, когда Колесников снова нагрянет, уже убитый. (*Сквозь кашель.*) Наверно, он теперь не спит, не спит...

(Молчание.)

Я протянул вам жизнь... и расписки в получении не требую.

Егоров. Не сердись, товарищ. Партизан имеет право на любые вопросы. (*Лежащему под рогожей.*) Ты, Паша, не хочешь высказаться?

(Молчание.)

Раз сама совесть наша молчит, дело ясное. Голосую. Кто против принятия этого человека в наш истребительный отряд... пусть поднимет руку.

Старик. Чево, в герои не просятся... туды самовольно вступают.

Егоров. А ты, Паша?

(Молчание. Егоров снимает с его лица рогожу. Тот лежит с открытыми глазами.)

Паша, Павел... ты что? Ты слышишь меня, Паша?

(Молчание. Егоров прикрыл вновь лицо мертвого.)

Итак, единогласно. Ну, дай, я поцелую тебя, новый Колесников!

Татаров (*зло и настойчиво*). В губы, в губы!

(Егоров обнял Федора. Где-то сверху лестницы шум и голоса. Слышна команда: «*Ganzer Zug halt! Links um! Richt euch!*»¹ И, сбросив с себя личину, выпрямившись в рост, сумасшедший устрaшенно прижимается к стене.)

Егоров. Приготовьтесь, товарищи.

(Все, кроме Федора, сбиваются в кучку на правом ближнем плане.)

Ольга. Итти в ногу, глядеть легко, весело. На нас смотрят те, кто еще сегодня вечером сменил нас. Красивыми, красивыми быть, товарищи!.. (*Федору.*) Вставай, Федя. Пора...

(Федор присоединяется к остальным. За дверью показываются люди.)

Татаров. Раньше в барабаны били при этом. Я в описаниях читал. Что-то не слышать...

(Мальчик шарит шапку на нарах.)

Старик. Шапку-то оставь, Прокофий. Тут недалеко.

(Дверь открылась. Входят солдаты. Шпурре, Мосальский. У офицера фотоаппарат на ремне.)

Татаров. Видать, карточку будут сымать на память. Своим мамашам пошлют!

Шпурре (*показывая на выход, свистяще*). Добрро пожаловат!

(Все разом двигаются вперед. Конвойный офицер предупредительно выставляет руку, — три пальца.)

Егоров. По-трое, значит...

(Короткое замешательство, — никто не смотрит в глаза друг другу. Егоров выбирает глазами первую партию.)

Ну, я пойду (*Федору*), ты, конечно, и...

Татаров. ...и я. Пойдем, пойдем... я им покажу, я им покажу, сволочам,

¹ Взвод, смирно! Налево равняйся!

как наши умирают. (Федору.) Ты на плечо мне опирайся, Андрей. Плечи-то у меня пока здоровые!

Федор. Нижего, я сам. (Ольге.) Если увидишь мать, объясни ей... я не был пьян в ту ночь, накануне. Я просто не спал тогда две ночи, негде было...

(Солдаты окружают их и уводят. Последним покидает подвал Мосальский.)

Ольга. Слушайте, офицер... Офицер говорит по-русски?

(Мосальский наклонил голову.)

Здесь есть беременные.

Мосальский (поморщившись от слова). Веревка выдержит, мадемуазель.

Ольга (упавшим голосом)... и дети! Мосальский. Вы задерживаете меня, мадемуазель. (Прокофию.) Сколько тебе лет, Статнов?

Прокофий (с вызовом). Семнадцать.

(Иронически поклонившись, Мосальский уходит. Уже по своему почину Прокофий поднимается по ящикам к окну.)

Народу сколько нагна-али...

(Он вынул тряпку из пробонны в окне. Ветерок пахнул в лицо ему горсткой снега. Снова пальба зениток.)

Дедушка, а что... Сталин большого росту?

(Старик молчит, он слушает гул наверху.)

Ольга. Где ты, отец, Сталина видал?

Старик. Так, по сельскому хозяйству видались. Диковинку я одну выростил... (Точно видя заново.) Залища просто-орная была, и нас поболее тыщи. А пустынно вроде и как-то каменно. И вошел один человек, и враз местечка лишнего не стало. Тесно стало и пламенно.

(Мальчик отвернулся от окна. Все затихло. Слышен дважды повторенный на площади возглас: Сталин, Сталин... Голос замирает на полуслове.)

А росту он будет вполне обыкновенного.

(Залпы зениток ближе и громче.)

Салют, что ль, заместо барабанов дают?

Прокофий (вцепившись в решетку). Дедушка, парашуты, парашуты. В небе тесно стало, дедушка!

(Он соскочил, уткнулся в колени старика, и все, что скопилось за день, разряжается теперь нестыдными, ребячьими слезами.)

Сталин, Сталин пришел...

(Видны бегущие ноги в окне. Смятое полотнище парашюта розовым облаком застилает его на мгновение. Потом кто-то, вопя — «и-эх ты, злое семья!» вышибает прикладом забитое досками окно. И тотчас несколько человек, громыхая и крича, спускаются по склизам в сумрак ямы, — и первым из них — Колесников. После яркого полуденного снега они ослепленно молчат.)

Колесников. Чужих нет? (Ольге, кивнув на выход.) Встреть мать. (Двум с карабинами.) А ну, пошарьте под корягами. Может, налимшко найдется.

(Двое уходят во тьму соседнего подвала. Женщина беззвучно плачет. Колесников всматривается в лица людей.)

Федор Таланов... Федор!

(Все молчат.)

Прокофий. Трех наверх увели. Теперь уж их не догонишь.

(Из соседнего подвала слышен голос — «дай сюда фонарика, Андрей Петрович... наlima держу. Руку лижет. Тут запасный выход есть».)

Колесников. Иду.

(Он уходит. Ольга шагнула к пареньку в шинелке, который, засучив рукав, зажал локоть ладонью.)

Ольга. У вас кровь, товарищ.

Паренек (еще в возбуждении атаки). Разве уберешься в экой суматохе!

(Ольга наспех рвет платок для временной перевязки, паренек шарит глазами по подвалу.)

Старик. Аль что потерял, сынок?

Паренек. Не-е... А как отступали мы в прошлом месяце, пожалел я старичка одного. Сбежал я к нему на обочинку, прижал ко грудкам... «Не горюй, говорю, дедушка. Русские вернутся. Русские всегда возвращаются». И последнюю горбушенку в пазуху ему сунул...

Ольга. Вот и все пока, только не гните в локте.

Паренек. И весь месяц я его во снах видал. Подойду — «потерпи, скажу,

дедушка... скоро придем. Дай только обозлиться маненько. Ведь русского обозлить — проголодаешься!» А у меня установка такая: слово дал — держись...

(Из соседнего подвала, пятясь перед партизаном, выходит в защитной бекешке Фаюнин, потом Колесников.)

Колесников. Какой же это налим. Это есть по всем статьям щука. А еще рыбак!

(Паренек растерянно засматривает в лицо Фаюнина.)

Никак наш-то нашел своего старичка с обочинки.

Паренек. А поправился ты, дедушка, с горбушечки-то моей.

(Фаюнин молчит. Сверху спускается Таланов, с ним Анна Николаевна.)

Анна Николаевна (во всю силу боли своей). Ольга..

(И затихла, уткнувшись в плечо дочери. Паренек касается фаюнинского плеча.)

Паренек. И порадоваться-то нам с тобой тут негде, дедушка. (И в ласке его звучит железо.) Пойдем на свежий воздух, там обнимемся...

(Они уходят.)

Ольга (отцу). Она видела... там?

(Тот утвердительно кивает. Ольга заглянула в лицо матери.)

Мама, у тебя сухие глаза. Нехорошо, поплачь о Феде, мама. Он уходил, а теперь снова вернулся. Он рядом с тобой стоит, он снова твой, мама!

Анна Николаевна. Он вернулся, он мой, он с нами...

Конец

Чистополь, 1942 г.

Смерть боцмана

Л. ОСИПОВ

Рассказ

★

В траальщик «Ястреб» попала бомба. Пятидесятилетний боцман Петр Терентьевич Сукач был ранен. Он быстро выздоровел и через месяц возвратился в строй.

«Ястреба» уже не существовало. Команда корабля дралась на суше. И боцман пошел в морской береговой отряд.

— Модернизировали старого матроса, — доложил он, явившись к командиру.

Петр Терентьевич скрывал, что «модернизация» оказалась, очевидно, незавершенной. Он стал быстро уставать, по вечерам рана мучительно ныла...

Однажды боцман и несколько краснофлотцев были посланы в разведку. Шли долго густыми зарослями, по колена в снегу. Часами лежали, зарывшись в сугробы, высматривая врага. Петр Терентьевич совсем обессилел и вынужден был дать себе команду «стоп».

— Вот что, товарищи, — сказал боцман. — Мои моторы отказали... Вынужден я стать на якорь. Вы продолжайте дело... смотрите в оба, приказ выполняйте как подобает морякам... А на обратном пути прихватите меня!.. — крикнул он вслед удалявшимся и отполз за голый куст, чтобы отлежаться.

Его сильно знобило, глаза слезались, и он вскоре потерял сознание.

Когда Сукач очнулся, над ним стояли фашистские автоматчики и, неизвестно зачем, постреливали вокруг. Коваными сапогами они били боцмана в

спину и в грудь, выкрикивая какое-то непонятное слово. Петр Терентьевич догадался, что они требуют, чтобы он встал на ноги. Моряк попытался подняться и повалился, как сноп.

Неподалеку затархтел танк. Один из автоматчиков побежал ему навстречу, и вскоре гусеницы машины загрохотали совсем рядом.

Петра Терентьевича привязали бечевой за ноги к запасной цепи, и танк потащил его по кочкам, выбоинам и оврагам. Немец-водитель нарочно сворачивал с дороги, прибавлял скорость, и тело боцмана подпрыгивало, опрокидывалось то вниз лицом, то на спину. В танке кто-то смеялся густым хриплым басом.

Боцман испытывал нестерпимые мучения. Он стиснул зубы, чтобы не проронить ни слова, ни стопа. Крепка была моряцкая закваска гордости. Петр Терентьевич выдержал эту пытку.

Был допрос. Из Сукача ничего не выжали, он молчал. Его повели на расстрел.

«Слава тебе, старый матрос!» — тихо произнес боцман, когда отошли от избы. Он похвалил себя так, как будто дело шло о другом человеке.

Он шел, шатаясь, лоскуты тельняшки свисали с широких плеч. Изуродованные пальцы, с которых были сорваны ногти, кровоточили, жгучая боль, казалось, заполнила все его тело. Но мысли Сукача были попрежнему ясными. Пока его вели к месту казни, он

думал: «...Не утрашусь... умру по-честному, молча...» Он искал слова, которые бы успокаивали его и готовили к смерти, и находил их. Кругом были только враги, но старый боцман знал, что теперь конец испытаниям уже недалек, как и конец его жизни, и это утешало его.

Петра Терентьевича подвели к стенке сарая, изрешеченной пулеметным огнем.

Суровый и молчаливый, в ожидании смерти, стоял боцман. Тяжелые веки прикрывали усталые глаза. Думы у боцмана были чистые, он не запялтал своей чести. И он понял, что это и есть самое высокое чувство, какое может испытать человек, у которого впереди уже нет жизни.

Он вдруг подумал:

«Хорошо бы надеть пару чистого белья... Принять смерть по-морскому...»

Вокруг расхаживали немецкие солдаты. Надутый офицер, похожий на страуса, что-то им говорил писклявым голосом, странно подрагивая плечами.

«...Твоих парусов уже нехватит, чтобы ринуться против ветра...» — подумал Петр Терентьевич, когда у него на секунду мелькнула мысль «задушить эту кикимору».

Да, самое большее, на что он сейчас был способен, — это собрать остатки сил для того, чтобы мужественно умереть.

Так они стояли лицом к лицу — вооруженный враг и моряк, уходящий в вечность.

Уставший боцман переступил с ноги на ногу. Этого оказалось достаточно: офицер испуганно отскочил в сторону и... выстрелил.

Петр Терентьевич схватился за грудь; густо хлынула теплая, липкая кровь. Припав на одно колено, он на миг задержался, а затем повалился ничком, словно отдавал земле глубокий поклон.

Он еще жил, руки его машинально загребали снег, проникая все глубже в белый холодный пух, пока не коснулись мерзлой почвы. Тогда он внезапно вытянулся и затих.

Так наступила смерть старого матроса с «Ястреба».

Через несколько часов немцы были выбиты из деревни. Тело боцмана, неизвестно как попавшее на перекресток двух дорог, лежало запорошенное снегом. В руках Сукача были зажаты комья земли.

Его нашли бойцы морского отряда. Боцман будто спал после многодневной вахты.

— Наш Сукач, — сказал кто-то из бойцов.

Обнаженные головы склонились в тоске и ярости. Никто не произнес: отомстим! Это было ясно без слов.

Командир отделения присел на корточки и бережно положил голову убитого на свои колени. Пушистые снежинки медленно падали и покрывали волосы и лицо боцмана.

Бойцы подняли тело старого товарища и медленно двинулись к деревне. Была звездная, ясная ночь. Не слышно было тяжелого разговора орудий, стояла торжественная тишина.

Моряки шли медленно. С ними был их боцман с тральщика «Ястреб». Они несли тело на вытянутых руках, подняв его высоко над головами, как знамя.

Война и медицина

Проф. Н. И. ПРОППЕР-ГРАЩЕНКОВ



Значение медицины в современной войне исключительно велико: оно складывается из медико-санитарного обеспечения армейских операций, особенно в условиях маневренной войны, и санитарного укрепления тыла. Если учесть, что в современную войну, помимо крупных армейских соединений, втянуты большие города с многочисленным населением, то в конечном счете в войне участвуют многие миллионы военного и гражданского населения.

Уже одно это обстоятельство делает весьма ответственными задачи медицины в проведении профилактических мероприятий, исключающих распространение тех или других заразных болезней.

Несмотря на то, что последние войны, в отличие от прежних войн, не сопровождаются массовыми эпидемическими заболеваниями, упорная и успешная борьба с ними путем широких предупредительных мероприятий составляет важнейшую отрасль медико-санитарной службы в современной войне, особенно в связи с угрозой бактериального нападения.

Любопытно некоторые статистические данные людских потерь за прошлые войны непосредственно от оружия и от эпидемических заболеваний. Все предыдущие войны до русско-японской характеризовались массовыми потерями от заразных болезней. По данным Кольба, изучившего статистику европейских войн с 1733 по 1865 годы, видно, что за 132 года было потеряно 8 с лишним миллио-

нов человек, из которых от оружия погибло всего лишь около $1\frac{1}{2}$ миллиона человек, а от заразных заболеваний — $6\frac{1}{2}$ миллиона человек. Таким образом, только 19 проц. всех жертв пало на поле брани. Такие же соотношения дает статистика войн конца XIX века. Так, например, русские войска во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов потеряли 34 742 человека убитыми, а от заразных болезней и чумы — всего 59 000 человек, причем от тифа — 44 000 и от дизентерии — 13 000.

В связи с прогрессом микробиологической науки и развитием массовых предупредительных мероприятий, особенно прививок против эпидемических заболеваний, последние перестали быть грозным бичом войн XX века, как это имело место в предыдущие века. Уже русско-японская война показала, насколько изменилось соотношение смертей непосредственно от оружия и от эпидемических заболеваний. Так, например, на 31 000 потерь убитыми от эпидемических заболеваний погибло всего лишь 16 000, при этом основными видами эпидемических заболеваний были брюшная тиф и дизентерия. Первая империалистическая война еще больше изменила соотношение потерь от оружия и эпидемических заболеваний. Так, например, французская армия потеряла почти $1\frac{1}{2}$ млн. убитыми и более $2\frac{1}{2}$ млн. ранеными, а от заразных болезней немцами более 175 000.

Несмотря на изменение соотношения

потерь непосредственно от оружия и от эпидемических заболеваний, угроза эпидемических заболеваний не снимается, особенно, если учесть угрозу бактериального нападения, над чем так много за последние десять лет работали, в частности, некоторые германские микробиологи, связанные с германским генеральным штабом. Еще задолго до начала войны бывший редактор английской газеты «Таймс» опубликовал на страницах своей газеты факты, разоблачавшие деятельность некоторых отделов германского штаба, связанную с подготовкой бактериологической войны. Как известно из этих разоблачений, агентура германского штаба на парижских площадях и в парижском метро проводила работу по выяснению характера и быстроты распространения некоторых бактерий в условиях крупного города.

Несмотря на подписанный в Лиге Наций пакт почти всех держав об отказе от бактериологической войны, так же как и от химического нападения, германский фашизм, как это явствует из документов, захваченных при разгроме германских соединений, усиленно готовится к внезапному химическому нападению, хотя Германия в свое время и подписала конвенцию об отказе от химической войны. Вот почему мы не должны верить подписи Германии на декларации об отказе от бактериологической войны, ибо германский фашизм, способный на любое предательство и героизм, в наиболее удобный момент может использовать любое оружие нападения.

Поэтому проведение широких предупредительных мер в отношении заразных болезней, в том числе и многочисленных прививки в армии и среди гражданского населения, являются очень важным государственным мероприятием. В задачи медицины входит и вооружение армии и гражданского населения средствами распознавания различных болезней, которые давали бы возможность в кратчайший срок установить ту или другую болезнь, правильно оценить обстановку и принять надлежащие меры к ликвидации и локализации возникших эпидемий и к оказанию квали-

фицированной лечебной помощи заболевшим.

★

Военно-санитарное дело в дни Великой Отечественной войны опирается на весь предшествующий опыт развития отечественной научной и практической медицины, который был особенно плодотворным за истекшие 24 года после Великой Октябрьской революции.

За последнее десятилетие экспериментальная биологическая и медицинская наука накопила огромные новые сведения в области микробиологии и особенно в области вирусных и нейрвирусных заболеваний. Много нового внесла наука, в связи с развитием теоретической и синтетической химии, в дело санитарно-химической защиты. Для нужд практической медицины использованы новейшие данные теоретической физики — такие, как ультра-короткие волны, искусственные радиоактивные вещества, ультра-фиолетовая радиация и т. п.

Забота о здоровье населения нашей страны стала первейшей государственной обязанностью. Это нашло свое отражение в Конституции СССР и в указании товарища Сталина о том, что самым ценнейшим из всех капиталов страны является человек. Забота о людях выразилась в создании огромной сети поликлинических и больничных учреждений, в медико-санитарном законодательстве, в обеспечении наилучших санитарно-гигиенических условий труда, реконструкции городов.

Эти же принципиальные установки легли в основу работы наших передовых медико-санитарных отрядов, начиная от санитарного инструктора роты до тылового госпиталя включительно. Вынос с поля боя каждого, независимо от тяжести ранения, обеспечение ему немедленной медицинской помощи, максимальное приближение врачебной помощи к передовой линии, исключительное внимание к первичной обработке ран, наиболее благоприятная транспортировка раненых и оказание квалифицированной медицинской помощи на последующих этапах эвакуации, создание в ближайшем и отдаленном тылу специализированных

госпиталей с концентрацией в них наиболее квалифицированных специалистов в области нейро-хирургии, полостной хирургии, ортопедии и т. п., — все это проникнуто одним стремлением: выходить каждого раненого, независимо от тяжести ранения, и во что бы то ни стало спасти его жизнь.

Такое отношение к каждому раненому нашло свое выражение и в специальном приказе Народного Комиссара Обороны товарища Сталина о награждении санитаров орденами Советского Союза за вынос с поля боя определенного количества раненых.

★

В гитлеровской Германии организация научной и практической медицины подстать всей социально-экономической структуре общества. Фашистские заповеди изгнали те священные принципы гуманизма, которыми всегда была проникнута медицина и которые достигли своего наивысшего расцвета в условиях демократического и социалистического строя. Германский фашизм в течение многих лет занимался «идейной» обработкой тех врачей, которые поддались каннибальским расовым теориям и приняли бредовые идеи фашизма как основу для развития своих «теорий» и действий в области медицины. Многие сотни квалифицированных ученых, украшавших когда-то германскую медицинскую науку, покинули пределы фашистской Германии, а многие, не сумевшие во время бежать, были варварски замучены в концентрационных лагерях. Остались лишь одиночки-авантюристы, решившие сделать себе служебную карьеру на разгроме общечеловеческих культурных и идейных ценностей, в том числе и идейно-гуманитарных ценностей медицины. Таких карьеристов среди мало-мальски значимых ученых прежней Германии нашлись лишь единицы. Эти авантюристы по указке оголтелых представителей германского фашизма и создали за годы гитлеровского режима «принципиальные установки» германской медицины. Во главе современных «теоретиков» фашистской

медицины стоит Ганс Рейтер — активный участник гитлеровской шайки и «идейный» творец современной фашистской медицины. Составление всяческих диких античеловеческих законов по принудительной стерилизации, в том числе и последнего закона, опубликованного в ноябре 1940 года, «о наследственной пригодности для производства потомства», обеспечило Рейтеру государственную карьеру.

Если прежние расовые законы фашистской Германии требовали стерилизации при наличии наследственных заболеваний у данного субъекта, то последний закон дает повод признать личность наследственно неполноценной и в том случае, если имеется какой-либо неблагоприятный наследственный признак у самых отдаленных его родственников. Больше того, «неблагонадежное» поведение, конфликт с властями и полицией также дают право признать личность наследственно непригодной для производства потомства и подвергнуть ее стерилизации.

Несмотря на наличие таких изуверских законов, в современной Германии находятся, однако, изуверги с медицинским дипломом (как, например, школьный врач Зейдлиц из Дрездена), которые недовольны якобы узкими пределами стерилизации и предлагают приглашать родителей всех неуспевающих школьников для их изучения на предмет возможной стерилизации. Другой изувер — Изберт из Берлина — в одном из официальных органов отдела здравоохранения министерства внутренних дел гитлеровской Германии жалуется, что закон о стерилизации часто нельзя применять в полной мере, так как на это нехватает необходимых формальных предпосылок.

Вся «теоретическая» премудрость современной фашистской медицины отражена в докладе Ганса Рейтера, сделанном им в Риме 22 апреля 1940 года и озаглавленном: «О значении биологического мышления для рационального государственного управления». По существу, весь этот доклад заполнен бредовой евгенической болтовней. Применительно к медицине в нем проповедуется «идея»

отказа от лечения болезней, ибо, по мнению Рейтера, следует не лечить болезни, а осуществлять евгенические мероприятия, направленные к улучшению здоровья нации, как целого, и к ускорению процесса отмирания отдельных личностей, страдающих теми или иными болезнями и в этой связи представляющих собой неполноценный элемент нации, как целого. Рейтер требует, чтобы германские врачи отказались от лечения болезней и руководствовались в своей практике признанием одной «ведущей идеи об осуществлении всевозможных расистских мероприятий, в том числе и максимального развития стерилизации, как средства, исключающего размножение «неполноценных».

Вся эта вредная болтовня зиждется на догмате старой немецкой реакционной философии о биологической вечности, по отношению к которой жизнь отдельного человека рассматривается, как временное существование, которое является не чем иным, как проекцией этой абстрактной биологической вечности.

Вот, например, тезис Рейтера: «Чем глубже мы проникаем в область биологических познаний, тем более ясно является нам влияние унаследованных биологических сил прошедших генераций на судьбу отдельных людей, и все более сдержанно оцениваем мы, врачи, врачебные возможности вмешательства в человеческие болезненные состояния и надломы...

Каким мелким кажется в сравнении с этим все временное, что ведь является не чем иным, как короткой проекцией биологических вечных ценностей современности».

Эти рассуждения нужны для обоснования отказа от необходимости практической квалифицированной медицины, от расширения больниц и поликлиник, для оправдания тенденции к их закрытию. Наследственно-биологическая полноценность определяется, по Рейтеру, степенью размножения, однако это право дается только людям с безупречными наследственными свойствами. Дру-

гие же, не имеющие этих свойств, лишаются права на размножение—или путем стерилизации, или отвлечением непосильным трудом, или войной. Таким образом, изувер Рейтер догваривается до создания в человеческом обществе того, что существует среди пчел, то-есть пчелы-рабы, пчелы — трутни-производители, самки, кладущие яйца и умножающие поколение, а над всем этим пчелиная матка или сверхчеловеческое существо — фюрер. Из этой «философии» и родилась практика массового физического и психического калечения — стерилизация, а также практика случайных пунктов, где производителями трутнями являются эсесовские фрицы, сидящие в тылу и зорко наблюдающие, чтобы недовольные гитлеровским режимом не подняли голову.

Эта, с позволения сказать, «теория» здравоохранения является опорой всей практической медицины в Германии. Недаром всему, что дали лучшие люди в области медицины — Вирхов, Эрлик, Кох и многие другие — противопоставлено в гитлеровской Германии знахарство.

Последние терапевтические съезды Германии происходили под знаком объединения академической медицины и так называемого лечения силами природы, что по сути дела означает узаконение знахарей и всякого рода бесовских «теорий» и низведение до роли знахарства когда-то славной медицинской науки Германии.

Незадолго до второй мировой войны число знахарей в Германии достигло 14 000 человек, официально зарегистрированных, что составляло около 35 проц. по отношению к общему числу врачей. Теперь знахари в Германии захватили трибуны научных съездов и научных журналов, организуют специальные клиники. Они официально допущены к занятиям практической медициной, как представители так называемого лечения силами природы.

Эти мракобесы восстают против всех завоеваний современной микробиологии, против лечения сыворотками и вакцинами, против прививок с помощью вакцин. Они используют при этом столь

поощряемый государством довод, что, мол, при введении сыворотки, как средства предупреждения и лечения некоторых инфекционных болезней, в частности кори, можно ввести белок неарийской расы в истинно немецкую кровь.

Незадолго до войны проф. Кулемкампф — один из немногих авантюристов, которые в союзе с Гансом Рейтером творят «идеологию» медицины гитлеровской Германии — выступил с предложением закрыть родильные дома, мотивируя это тем, что нужно вернуть роды в их естественную обстановку — в семью.

Сущность же дела сводится к тому, что фашизм продолжает добивать и громить те остатки немецкого здравоохранения, которые еще удержались в тех или других формах в практической медицине. Социальное страхование, как известно, было разгромлено в первые же годы после захвата власти фашистской шайкой. В основе таких действий лежали и лежат не только бредовые идеи, но и суровая экономическая необходимость, в том числе и широкое использование всевозможных «эрзацев». Знахари, таким образом, оказались эрзац-врачами.

На германском терапевтическом съезде педиатр Бэссау усиленно доказывал, что ранняя детская смертность является отбором неполноценных и соответствует законам природы, а потому целесообразно принимать против нее какие-либо меры. А некий «теоретик» фашистской медицины — Киппе — в своей книге «Опыт философии медицины», опубликованной в германском клиническом еженедельнике, упрекает медицину за то, что, борясь с заразными болезнями, она делает вредное дело: «усиленно борясь с эпидемиями, врач уничтожает и хорошие стороны эпидемий, в числе которых можно назвать естественный отбор и уничтожение избытка населения».

Еще до начала второй империалистической войны Геринг в министерстве авиации разрабатывал технику тифозных и чумных десантов, а ряд научно-исследовательских учреждений фашист-

ской Германии, в том числе и некогда замечательный своими общепользовными всему человечеству исследованиями Институт имени Коха, были ориентированы фашистскими заправилками на разработку средств бактериологической войны. Для обоснования этой войны и нужны «теории», подобные только-что упомянутым рассуждениям Бэссау и Рейтера.

В духе этих принципов осуществляются мероприятия, связанные с оказанием помощи раненым. Сейчас уже ни для кого не секрет, что германское командование дало своей медико-санитарной службе точный и ясный приказ не оказывать помощи тяжело раненым, не выносить их с поля боя, чтобы не загружать госпитали безнадежными ранеными (безнадежными в том смысле, что они не могут после проведения лечения вернуться в строй). Все внимание уделяется только тем раненым, которые могут вновь стать пушечным мясом. Всем остальным предоставляется возможность в тяжких муках закончить свою жизнь на поле сражения.

В этом проявилась исключительная жестокость, возрождающая права рабовладельческого строя, где потерявший работоспособность раб безжалостно умерщвлялся или где воин, получивший тяжелое ранение, либо бывал добит, либо в ужасающих муках умирал без помощи.

Для современного культурного человечества, воспитанного в духе уважения к каждой отдельной личности, как элемента, из которого слагается единое целое — человеческое общество, установки гитлеровской Германии глубоко враждебны, ибо они, как и во всех остальных областях жизни, отбрасывают человечество к темному прошлому.

★

Советская медицинская наука в условиях военного времени руководствуется одной основной целью: обеспечить мероприятия, способствующие защите войск и населения от болезней, успешно лечить болезни и раны, максимально сохранять жизнь и здоровье наших доблестных воинов.

За истекшие месяцы войны советская медицинская наука уже многое сделала.

Для успешного лечения ран и предупреждения развития гнилостных процессов в них советская медицинская наука уже провела и продолжает проводить ряд исследований по широкому применению различных химиотерапевтических препаратов, как могучих средств борьбы с гнойными ранами. В числе этих средств первое место занимают стрептоцид, имеющий исключительное бактериостатическое действие в отношении стрептококка, сульфидин и сульфазол, имеющие такое же бактериостатическое действие в отношении стафилококка и пневмококка. Вся группа кокковых инфекций, дающих очень тяжелые гнойные поражения ран, в связи с загрязнением их, и ведущих (как это показывает опыт предыдущих войн) к тяжелым септическим заболеваниям, то-есть к заражению крови, поддается успешному воздействию со стороны названных химиотерапевтических препаратов, которые должны в достаточном количестве изготовляться нашей промышленностью и которыми должны быть снабжены все наши медико-санитарные организации, начиная с передовой линии фронта и кончая госпиталями в глубоком тылу. Более того, практика ряда полевых подвижных госпиталей и экспериментальные исследования показывают, что эти препараты могут быть с успехом применены при самых острых осложнениях загрязненных ран и газовой гангрене, требующих ампутации пораженных конечностей и приводящих иногда к смерти. Однако и в этой области еще продолжают изыскания для определения тех или иных комбинаций различных препаратов, в смысле времени применения их, в различные периоды лечения ран. В этой связи разрабатываются методы применения для лечения ран различных витаминов и их производных, например, бетаинона, как производного витамина А, никотиновой кислоты, как производной витамина С, витамина В₁.

Медицина уже располагает огромным арсеналом средств лечения ран, в том

числе и различными мазями, в частности масляно-бальзамической повязкой, разработанной и предложенной профессором Вишневым. Весь вопрос сводится к тому, чтобы дать четкие указания, когда, как и какие лечить раны теми или другими средствами.

Наличие таких могучих средств лечения ран, каковыми являются стрептоцид, сульфидин и сульфазол, особенно в сочетании с витаминами, не дает нам, однако, права отказаться от всего арсенала прежде накопленных средств и требует от медицинской науки дальнейшей срочной экспериментальной разработки того, в каких условиях и на каком этапе лечения ран необходимо применять те или другие средства.

Следует помнить, что ткани и органы человеческого тела неоднотипны в смысле степени заживления ран и соответственно требуют различной комбинации средств лечения. Так, например, для последнего этапа в лечении мозговых ран полезно применение небольших доз рентгеновских лучей. Вообще же в отношении лечения ран головного мозга намечаются как бы три этапа: на первом этапе, то-есть немедленно после ранения и некоторое время спустя, применяется стрептоцид вместе с сульфазолом, в некоторых случаях с бетаиноном или с витамином В₁; на втором этапе может быть применена мазь, имеющая в своем составе никотиновую кислоту и, наконец, на третьем этапе может быть применена рентгенотерапия в малой дозировке, не больше 50 К.*

Еще в период боев с белофиннами советские исследователи предложили использовать бактериофаг — могучий биологический агент для лечения гнойных и других ран. Как известно, бактериофаг является пожирателем бактерий. Применение бактериофага для лечения ран в основном себя оправдало, но, однако, не все еще сделано для лечения с помощью концентрированных и очищенных препаратов бактериофага, которые можно было бы вводить внутривенно, а не только рекомендовать

* К — единица измерения мощности и напряжения рентгеновских лучей.

для местного применения к ране. Внутривенное введение очищенного и концентрированного бактериофага, особенно при обширных загрязненных ранениях, может явиться могучим фактором в деле борьбы с раневым сепсисом, как равно и могучим средством лечения множественных гнойных ран. Нельзя также считать законченной работу и в части местного применения бактериофага для лечения ран. Следовательно, и в этом направлении медицинская наука в нашей стране проводит и будет проводить интенсивную работу в теснейшей связи с госпиталями, чтобы возможно скорей сделать достоянием практики научные достижения в этой области.

Последние исследования американских и английских ученых показывают, что в природе имеются очень мощные биологические средства в борьбе с гноеподобными микроорганизмами. Так, например, дрожжевые бактерии, как это показал Александр Флеминг еще в 1930 году, выделяют продукт своей жизнедеятельности, названный пенициллином. Этот продукт в разведении 1 : 500 тормозит рост стафилококков и стрептококков. Недавно в Оксфорде Чейн с сотрудниками осуществил выделение этого продукта и сравнил его бактериостатичность с известными зарекомендовавшими себя химиотерапевтическими средствами. Сравнение это говорит в пользу пенициллина, ибо даже самый сильный из химиотерапевтических препаратов по своей бактериостатичности — сульфазол в четыре раза менее бактериостатичен, чем пенициллин. В то время как наличие большой массы гноя в раневой области тормозит бактериостатическое действие сульфамидов, пенициллин может оказывать свое бактериостатическое действие при любом количестве содержащего в ране гноя. В США Дюбос в конце 1939 года выдвинул из почвенных бактерий продукт их жизнедеятельности, названный им грамицидином, который обладает исключительно большой бактериостатической силой. Уайт в США в 1940 году выдвинул из водорослей аспиргеллин, оказавшийся также исключительно

сильным бактериостатическим агентом, обладающим литическим, то-есть рассасывающим, действием. Уже в конце 1940 года в США Ваксман и Вудруф из почвенных актиномицетов (род грибов) выдвинули кристаллическое вещество, которое проявляет свою бактериостатическую силу в разведении 1 : 100 000 000. Это — необычайная сила бактериостатичности, которой, конечно, пока не обладают химиотерапевтические вещества.

Применение вышеперечисленных веществ в лечении ран может оказаться исключительно эффективным, и в этом направлении, особенно в направлении выделения из почвенных бактерий грамицидина, работает наша медицинская наука.

Советская медицинская наука разработала и проверила в клинических условиях метод замещения больших дефектов при ранениях периферических нервов путем вшивания формализированных нервов животных или соименных крупных нервов трупа. Этот метод дает возможность постепенно и правильно прорасти нервному волокну от нервной клетки к периферии и этим обеспечивает восстановление утраченных двигательных и чувствующих функций рук или ног.

При современных тяжелых рваных ранах часто образуются большие дефекты периферических нервов. Между тем сохранившаяся нервная клетка в спинном мозгу, частью которой является нервное волокно, составляющее двигательную часть периферического нерва, обеспечивает так называемую регенерацию, или вторичное произрастание нервного волокна.

Обычно при перерезке нервного волокна, будь то вследствие ранения пулей или осколком, или вследствие тяжелого удара, приведшего к разрыву нервных волокон, оно в течение определенного периода времени дегенерируется или распадается, как к периферии от места повреждения, так и к центру, то-есть в направлении своей нервной клетки. Затем через определенный промежуток времени сохраня-

шаяся нервная клетка обеспечивает постепенное отрастание своего нервного отростка в виде нервного волокна. Это отрастание, как установил известный, ныне покойный, крупнейший испанский ученый Рамон и Кахал, равно одному миллиметру в сутки. Если нет большого разрыва между центральными периферическими концами разорванного периферического нерва, и, предположим, эти концы после разрыва между собой соединены, то постепенно отрастающее нервное волокно проходит через место разрыва, вступает в свое старое русло, которое является оболочкой нерва, и постепенно достигает на периферии соответствующих мышечных и кожных окончаний, по достижении которых восстанавливается двигательная функция руки или ноги, прежде утраченная вследствие ранения периферического нерва.

Таков же механизм первоначального распада, а затем отрастания чувствующих волокон периферических нервов. Нервные клетки для чувствующих нервов или волокон заложены в межпозвоночных узлах.

Если же, как это имеет место при наличии больших дефектов периферических нервов, имеется большое расстояние между периферическим и центральным концами периферического нерва, то отрастающее нервное волокно, дойдя до места этого дефекта и не имея возможности непосредственно проникнуть в старое русло периферического нерва, начинает клубиться, образуя всякие завитки и спирали, что ведет иногда к образованию так называемых невром, или образований, причиняющих человеку большую боль, и, конечно, при таком состоянии не обеспечивается восстановление двигательной функции руки или ноги, вследствие того, что это произрастающее волокно не достигло своих периферических окончаний.

Поэтому все мероприятия медиков здесь сводятся к тому, чтобы как бы создать мост или каркас между двумя концами периферического нерва, то-есть центральным и периферическим. И, следовательно, последующее отрастание нервного волокна обеспечивается доставкой к своим периферическим образова-

ниям через указанный каркас, то-есть, обеспечивается, как мы выражаемся, направляющее отрастание нервного волокна периферического нерва от своей клетки к периферическому волокну и ткани, которая данное нервное волокно растила прежде, до поранения.

Даже при наличии (как это показал опыт нашей клиники, где имели место подобные операции) отверстий до 12 сантиметров, можно достигнуть, правда, в течение длительного времени, восстановления или отрастания нервных волокон, их прорастания через местный каркас, достижения своих периферических концов и постепенного восстановления чувствующих и двигательных функций ноги или руки.

Наконец, имеется ряд методов, с помощью которых можно усилить процесс регенерации и отрастания и, следовательно, сокращать во времени этот процесс. Иными словами, тогда рост этот будет равен не одному миллиметру в сутки, а, предположим, двум, а, может быть, и более в сутки. Это достигается с помощью ряда процедур, ускоряющих отрастание нервного волокна.

Тяжелые травматические повреждения спинного мозга являются тяжким бичом, ибо мы еще не научились прибегать к замещению и восстановлению травмированной ткани спинного мозга. Однако мысль исследователей может и должна работать в направлении замещения дефектов спинного мозга, что могло бы позволить, пусть даже и весьма медленно, восстановить утраченные функции спинного мозга.

В лечении мозговых ран современная нейрохирургия достигла большого совершенства. Но и здесь нет предела возможному. И в отношении дефектов ткани головного мозга может стоять вопрос о замещении этих дефектов соответствующей массой мозга. Последнее, однако, требует еще большой предварительной экспериментальной проверки.

Как и во времена Пирогова, весьма актуальным остается вопрос о борьбе с травматическим шоком. Медицинская наука многое уже сделала в лечении шока и предложила средства борьбы с ним.

в том числе метод переливания крови. Примечание новокаина и др., и в дальнейшем предупреждение и наиболее быстрое и эффективное лечение травматического шока должно быть предметом изучения многих научных институтов. Переливание крови и как средство борьбы с травматическим — послераневым шоком, и как могучее средство терапии тяжелых ран получило очень широкое распространение. Патриотизм советских людей полностью обеспечивает необходимое количество крови для переливаний. Медицинские деятели, особенно работающие в институтах переливаний крови, многое уже сделали для уничтожения показаний и противопоказаний к переливанию крови и для лучшей консервации и транспортировки крови. Тем не менее в этой области исследования еще продолжают. Применение сухой плазмы крови для переливания, улучшение консервантов, а также дальнейшая разработка показаний и противопоказаний к применению переливания крови составляют задачу медицинских исследовательских учреждений.

Наряду с лечением ран, не меньшее значение имеет лечение ожогов и обморожений. Применение в современной войне целого ряда взрывчатых веществ, могущих давать обширные ожоги тканей, со всей настоятельностью требуют от медицинской науки немедленной разработки наиболее эффективных методов лечения ожогов, в частности замещения пораженной кожи и применения тех или иных стимулирующих веществ для скорейшей регенерации кожных покровов и наиболее быстрого приживления подсаженной кожи.

В условиях военно-полевой хирургии исключительно большое значение имеет борьба с болевыми ощущениями, они при тяжелых ранениях являются основной причиной для возникновения так называемого послераневого шока.

В последнее десятилетие боль была объектом интенсивного изучения, в том числе и нам пришлось провести ряд экспериментальных исследований как в условиях физиологической лаборатории, так и на клиническом материале по во-

просам химической природы болевых ощущений.

Боль не только неприятна, как субъективное ощущение, но и всегда связана со значительными изменениями химизма органов и тканей, вредно отзывающимися на нервной системе. Вот почему современное принятие мер к устранению боли играет немалую роль для последующего благоприятного лечения ран. Одним из наиболее действенных средств, устраняющих болевые ощущения, является новокаиновая инфильтрация по ходу соответствующих нервных проводников. Она исключает возможность передачи болевых импульсов от места болевой реакции к центральной нервной системе. Новокаиновая инфильтрация делается выше места ранения: если, например, речь идет о ранении ноги или руки, инфильтрируются все слои, начиная от надкостницы и кончая кожей. Это устраняет болевые ощущения на много часов и уже в последующем развивающаяся боль не является столь мучительной. В стационарных лечебных учреждениях применяется метод новокаиновой анестезии с помощью ионтофореза, то-есть с помощью приборов, позволяющих внедрять ионы новокаина через соответствующие электроды. Метод электро-новокаиновой анестезии выключает болевые ощущения на более длительный срок, чем обычная инъекция новокаина.

В орбиту ударной научно-исследовательской работы, проводимой в максимально короткие сроки, вовлечены и многие госпитальные учреждения, учет опыта которых должен подсказывать правильность решения той или иной научно-практической задачи.

Следует с удовлетворением отметить, что некоторые медико-санитарные армейские учреждения пришли к выводу о необходимости научного обобщения своего огромного практического материала. Начало этому положено 1-й Дивизионной медицинской конференцией мотострелковой дивизии.

Названная конференция разобрала ряд исключительно важных вопросов, таких, как поднадкостничная блока

да при переломах конечностей, шок и борьба с ним, отчет о работе медицинских полковых пунктов, разбор ошибок хирургической работы войскового района и отчет о хирургической работе медико-санитарного батальона. В качестве докладчиков выступали врачи медико-санитарного батальона и полковых пунктов медицинской помощи, причем докладчики пользовались в своих обобщениях теми или другими теоретическими положениями о той же новоканновой блокаде, о борьбе с болевыми реакциями, о показаниях и противопоказаниях к оперативному вмешательству в медико-санитарном батальоне при полостных, мозговых ранениях. Этот материал и послужил для начсанарма и армейского хирурга основанием к постановке вопросов об изменении некоторых тактических задач военно-полевой хирургии в условиях активной подвижной обороны и наступления.

Само собой разумеется, что практический опыт, помноженный на N-ное количество опытов медико-санитарных батальонов и подвижных госпиталей, даст

возможность теоретической медицине наметить ряд исключительных по своей значимости теоретических и практических выводов.

Медико-санитарные организации нашей Красной Армии и Флота, исходя из опыта практической и теоретической медицины послеоктябрьского периода, оснащены достаточным количеством предупредительных и лечебных средств и многими новыми методами распознавания болезней и оперативного вмешательства. Однако многое из накопленного в условиях мирного времени требует проверки и подготовки к потребностям медико-санитарного дела в условиях войны, в том числе и в условиях военно-полевых.

Как и все граждане нашей великой родины, медицинские работники и исследователи в области медицины исходят из одного желания и стремления -- принести все свои знания и силы на службу нашей родине и на осуществление скорейшей победы над коварным врагом, вторгнувшимся в пределы нашего отечества.

„Падение Парижа“ Эренбурга и вопрос о судьбе европейской культуры

В. КИРПОТИН

★

I

В испанской борьбе, которую ведут свободолюбивые народы против Гитлера и фашизма, все поставлено на карту: самостоятельность национального существования, право человека жить для своего счастья, судьбы науки и искусства, судьбы современной цивилизации. Фашисты не скрывают своей ненависти к культуре, к разуму, к интеллигенции. Их победа явилась бы торжеством всемирной реакции, ликвидацией достижений многовековой созидательной работы. Все честные и здравомыслящие люди понимают, что сейчас решаются судьбы человечества и судьбы народов на многие десятилетия вперед. «Перед нами две возможности, — резюмирует итоги своих размышлений Генрих Манн, — спасение цивилизации или ее гибель, упадок всего мира и еще недавно столь притязательной Европы. И это возможно. Европа должна лишь отказаться от своей истории — этому ее за последнее время часто учили».

Современные события заставляют задуматься в переживания многих чутких людей XIX и XX столетий, которых не раз тревожил мучительный вопрос: не пришла ли европейская культура к своему пределу, не наступил ли час ее заката и нового водворения варварства? Не все понимали, не все видели, что

есть выход из войн и социальных катаклизмов, из разительных контрастов богатства и нищеты, гуманных идеалов и стремительного усовершенствования орудий истребления — и среди них многие были отмечены выдающимся умом, поэтическим даром, истинной скорбью за судьбу драгоценного наследия предшествующих поколений.

Некоторые из них опирались на гегелеву философию истории, согласно которой народы и страны только раз выполняют всемирно-историческую миссию, а потом клонятся к упадку и гибели.

Карлейль и Уэлс в Англии, Анатоль Франс во Франции, Ницше в Германии по разным поводам, в разной форме говорили и писали о страшных катастрофах, внутренних или международных, о сильном утомлении, об оскудении жизни, о близости конца. Все эти разнородные и нередко враждующие писатели сходились на одном: «Наступили дни Мария; новые Кимвры и Тевтоны — у ворот Италии. Наступило начало конца».

Однако с самого своего появления мысли о гниении, упадке, конце, гибели европейской культуры встречали мощный отпор со стороны других писателей, более многочисленных, более влиятельных, в состав которых входило значительно большее число выдающихся и гениальных дарований. Как ни условен и ни зыбок термин «западничество», мы

можем сказать, что русская литература в этом отношении была «западнической», то-есть не верила в смерть европейской культуры и не отказывалась от усвоения всех ее положительных достижений. В 1861 году Чернышевский напечатал в «Современнике» статью под заглавием «О причинах падения Рима». Внешним поводом для ее написания послужил выход в русском переводе «Истории цивилизации во Франции» Гизо. На самом же деле она имела целью опровергнуть положение о завершении и умирании европейской культуры.

Чернышевский в ней выступает как идеалист в вопросах истории, для которого единственной причиной общественных изменений является прогресс «в успехах и развитии знаний». Но в то же время в статье Чернышевского заключен ряд верных идей, не потерявших своего значения и для нашего времени. Прежде всего Чернышевский отказывается видеть пользу в падении культур одних народов для исторического преуспевания других. Ряд националистически настроенных историков писал, что гунны, монголы и другие варварские племена, уничтожая одряхлевшие цивилизации, совершали положительный подвиг, ибо тем самым расчищали поле для произрастания новых культур. Фашисты, охотно доводящие до геркулесовых столбов любую реакционную идею прошлого, демагогически трубят, что производимые ими разрушения должны способствовать созданию «культуры» «новой» германской Европы. Практика фашистских «культуртрегеров» у всех перед глазами: истребление населения, разрушение производительных сил, сожжение деревень и городов, замена серьезных исследований тощими «мифотворческими» брошюрками задерживают историческое движение, отбрасывают человечество назад, ведут не к «новому порядку», а к неслыханному варварству.

Чернышевский, противоположивший точке зрения гибели культур, как необходимой ступени нового подъема, точку зрения преемственности культуры, был и теоретически, и политически прав.

Прав он был и в отрицании возможности аналогии между гибнувшей древ-

ней Римской империей и современной Европой. Прежде всего теперь не существует «неизвестных станований», откуда могли бы двинуться на Европу полчища дикарей, да и любое европейское государство представляет собой в экономическом, техническом и военном отношении такую силу, с которой никакие варвары, в точном смысле этого слова, (то-есть дикари или полудикари), никогда не справятся. «Грядущие гунны» превратились в поэтическую метафору — и только. Владимир Соловьев считал, что роль, аналогичную варварам, повалившим Римскую империю, сыграет для современной Европы объединение народов монгольского племени. Отцы теперешних фашистов, германские империалистические идеологи времен Вильгельма II, просто вульгарно вопили о желтой опасности. Однако живость демагогических криков об опасности, угрожающей мировой культуре со стороны народов желтой расы, опровергается уже одним тем фактом, что четырехсотмиллионный Китай, один из старейших цивилизованных народов, вступил в фазу нового культурного подъема и играет снова в культурной жизни человечества активную и положительную роль.

Таким образом, найти внешние силы, которые могли бы, по аналогии с варварами IV—V веков, повалить современную европейскую культуру, не представляется возможным — просто потому, что их нет. Остается, однако, сильнейшая часть аналогии — уподобление истощения внутренних творческих сил европейских народов истощению внутренних сил древнего Рима. Аналогия эта опирается на отождествление жизни народов и культур с жизнью биологических организмов, проходящих предустановленный круг рожденья, детства, юности, возмужалости и смерти. Современная наука давно уже отвергла подведение жизни народов и жизни биологических организмов под действие общественных законов. Однако главный и наиболее убедительный аргумент Чернышевского состоит не только в этом. Основное возражение Чернышевского состоит в том, что ни о каком истощении почвы современной европейской культуры

не может быть и речи по той простой причине, что основная масса европейского населения еще не участвовала по-настоящему в культурной жизни, а потому и не могла «истощиться». «Нынешнее состояние массы в самых передовых странах,—писал Чернышевский,—достаточно ручается, что она до сих пор почти вовсе еще не жила исторической жизнью, а продолжала искони веков дремать младенческим сном, каким дремали ваши любимые молодые страны... По мнению порядочных писателей о сельском хозяйстве, чем дольше возделывается земля рациональным образом, тем плодороднее она становится. Вы, насмотревшись, должны быть, одного только залежного хозяйства, по которому через три года земля становится никуда негодна и нивы переносятся на новое место, думаете, что историческая жизнь истощает силы страны. Так вот, если даже и согласиться с вашим понятием, все-таки выходит, что лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще, — только еще авангард народа, среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к подю исторической деятельности».

Ошибка мыслителей и писателей, предсказывавших конец Европы, состоит в том, что они противоречия общественного развития принимали за безысходный тупик, разложение определенных групп населения за неизлечимую болезнь народа и всей совокупности культурной жизни, кризисы переходных состояний за предсмертную агонию.

Законы смены форм общественного бытия и форм культуры были открыты и объяснены Марксом.

Историческое восхождение народов и культур не было никогда прямолинейным. Мнение Чернышевского, что «прогресс безостановочен», — ошибочно.

Войнами, нашествиями, насилиями, катастрофами, повальными эпидемиями человечество отбрасывалось вспять или задерживалось в своем развитии, целые страны превращались в пустыни, гибли многие и многие тысячи людей. Однако в истории современных европейских народов, при смене больших культурных периодов, не было длительных периодов разрушения, упадка и застоя, как после падения античной цивилизации или как после Чингиз-хана и его преемников в странах, подвергшихся монгольскому нашествию. Смена феодальной культуры буржуазной и буржуазно-демократической характеризовалась ростом производительных сил, развитием промышленности, громадными успехами в философии, естествознании, прикладных дисциплинах, искусствах и литературе.

Установление социалистического строя и развитие социалистической культуры в СССР опровергло довольно распространенную вульгарную версию, согласно которой между здоровыми явлениями предшествующей эпохи и новым расцветом лежит период гниения *всей* старой культуры и незрелых опытов новой. Переходный период между капитализмом и социализмом в целом носит структурный, созидательный характер. Рабочий класс устранил и разрушил только то, что уже давно превратилось в препятствие, в тиски для культурного строительства.

Социалистическая культура СССР, как законная наследница, переняла все ценное, здоровое и жизнеспособное, созданное предшествующими поколениями. Никогда в прошлой истории России не подчеркивалась так преемственность культурной жизни, как теперь. Никогда имена великих деятелей прошлого не пользовались такой популярностью, как у современных советских людей. Никогда еще значение интеллигенции во всех сферах народного труда не было подтверждено с такой авторитетностью. Искусства, науки, технические знания и умения стали общенародным достоянием. Унаследованная культура хранится не в музеях, а вошла в жизнь, превратившись в один из ферментов нового культурного творчества, ибо, как говорит Ленин,

«хранить наследство — вовсе не значит ограничиваться наследством».

Смена культурных фаз в современной истории обозначает подъем, а не разрушение или упадок культур, хотя бы временный.

Прочность современной культуры базируется также на ее международном характере, на разнообразных и неистребимых связях, объединяющих культурную деятельность народов земного шара. Уединенных, изолированных культур никогда не существовало, вопреки утверждению некоторых реакционных историков культуры.

Чрезмерное подчеркивание исключительности культур всегда было подсказано националистическим шовинизмом и опиралось на незнание, на отсутствие интереса к всемирной истории, на превратное представление об историческом процессе. Ни в Китае, ни в Индии не было абсолютного застоя. В странах, считавшихся выпавшими из культурного процесса, у народов Средней Азии, в Закавказье, несмотря на нашествия и опустошения, продолжалась творческая деятельность, запечатлеваясь в произведениях Руставели, Низами, Навои, армянских поэтов, в постройках Самарканда и т. д. Игнорирование культурной жизни одних народов придавало, естественно, более изолированный характер картине жизни других народов, на которых историк, писатель или публицист фиксировал свое внимание. Более пристальное и более беспристрастное изучение находило общенье и взаимовлияние между группами национальных культур, нередко, на первый взгляд, весьма отдаленных друг от друга.

Прежние частные связи и зависимости, развившись и распространившись на весь земной шар, в XIX веке привели к созданию прочных и всесторонних связей между всеми национальными культурами. «Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и более невозможными, и из многих национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература» («Манифест Коммунистической партии»).

Новое время характеризуется не падением и разрушением культур, а вступлением на путь интенсивного культурного творчества новых стран и народов. Народ Соединенных Штатов Северной Америки уже во второй половине XIX века сложился в первоклассную культурную силу. Американская литература является одной из самых интересных и влиятельных современных литератур. Все более и более вестников нового творчества доходит до нас из Китая и Индии. Произведения писателей южноамериканских стран все чаще находят себе благодарных читателей в Европе и СССР.

Славянские народы тоже внесли в общую сокровищницу много оригинальных и драгоценных даров. Без Толстого, Достоевского и Горького, без Чайковского, без Менделеева и Павлова никто не может себе и представить современной культурной жизни.

Выступление новых народов на арену культурного творчества — одно из самых красноречивых проявлений роста, развития и распространения культуры на земном шаре.

Появление новых культурных центров, приобретение новыми народами значения важных двигателей общекультурного процесса не означает, однако, отстранения или уничтожения более старых национальных культур. Передовые представители науки, литературы и искусства Англии и Франции, Испании, Бельгии и Голландии и те немецкие и итальянские мастера культуры, которым удалось спастись от фашистского террора и фашистского растления, продолжают обогащать всемирную культуру. Соединение усилий старых и более молодых народов на поприще культуры является чрезвычайно плодотворным. Чем разнообразнее и своеобразнее, чем полнее и богаче силы, формирующие культуру, чем больше народов участвует в объединении творческих усилий, тем выше цивилизация и по своему экстенсивному и интенсивному типу. Только одержимые невежды типа Гитлера и Муссолини прибегают к насильственной унификации и нивелировке материаль-

ной и духовной жизни народов — но это потому, что они являются разрушителями культур.

В каждый исторический период одни народы играют большую культурную роль, а другие меньшую, одни народы идут впереди других и указывают остальным путь. Этот неизбежный результат неравномерности развития не противоречит, однако, ни содружеству, ни взаимовлиянию культур, ни равенству национальных прав и достоинств. В истории происходило и происходит перемещение культурной роли народов. Одни выдвигаются вперед, другие теряют свои первые места. Ничто не проходит бесследно. Никакой народ не может без отрицательных последствий долгими годами терпеть хозяйничанье фашистских кланов, истребление ученых, изгнание писателей, сожжение книг, растление душ молодежи, сокращение числа высших учебных заведений, замену знания казарменной муштрой в школах, поход против образования. Культурный уровень страны понижается, мелеют истоки ее творчества, уменьшается количество и качество ее интеллигенция, ослабляется ее культурный потенциал. Точно так же и страны, в которых не нашлось никаких внутренних сил для сопротивления агрессору, народы, предпочитающие рабство борьбе, подрывают основы своей культурной жизни. Для творчества нужна определенная нравственная и идейная атмосфера, нужны воодушевление и самостоятельность. Социальные слои, покорно принимающие условия неволи и позора, обрекают себя на культурное бесплодие, на разложение, на гниение. К тому же фашистская «раса господ» не скрывает, что она рассматривает покоренных как «унтерменшен», недочеловеков, которых должно держать в черном теле, в постоянной нужде и на чрезмерной непосильной работе. Ограбление, превращение страны в придаток к чужому хозяйственному организму уничтожают материальные предпосылки культурной деятельности.

В воле к борьбе, в решимости победить проявляется достоинство народа, выясняется, чего он достиг и чего он

стоит. События второй мировой войны показали всему миру, что СССР превратился в оплот культуры и цивилизации.

Проверка величайшей и опаснейшей из войн установила, что русский народ, что СССР стоят в авангарде современного культурного человечества.

Пессимистические и скептические воззрения на будущность европейской культуры рождали настроения, сходные с мудростью Екклезиаста или Вико, твердивших о тщете человеческих усилий.

На самом же деле смены культурных формаций не были только топтанием на месте, тщетным и суетным маскарадом, кругами по воде, исчезающим бесследно.

История — не прямолинейное и беспрепятственное восхождение вверх по прямой линии, но и не бесплодная карусель, возвращающая человечество каждый раз к исходному пункту.

«Диалектический метод считает, — пишет товарищ Сталин, — что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему».

При мощи теперешних производительных сил, при высоком типе организации, примером которой может служить Советский Союз, при согласованности действий победителей, начала которой определены договорами между СССР, Англией и Америкой, никакие разрушения, как бы они ужасны ни были, не могут приостановить культурного процесса. Победа над гитлеровской коалицией агрессоров создаст все необходимые предпосылки для восстановления уничтоженного, даст толчок к новому, еще более интенсивному творчеству. Вот почему на вопрос, поставленный журналом «Коммон Сенс» после возникновения второй мировой войны: «Возможно ли, что нынешняя война в Европе явится концом той цивилизации, которую мы знаем в настоящее время в Америке, в Европе?» — американский писатель Теодор

Драйзер мог с полным основанием дать следующий ответ: «Я не верю, будто поднявшаяся сейчас в Европе буря сметет с лица земли цивилизацию... Цивилизация не погибнет. Она лишь будет развиваться в новой форме».

Опираясь на эти общие предпосылки, мы можем теперь перейти к рассмотрению романа «Падение Парижа» Ильи Эренбурга.

II.

Почти все действительно крупные писатели, размышлявшие о судьбах европейской культуры, уделяли большое место Франции. Во Франции просветительские и гуманные идеи XVII и XVIII столетий проявились с наибольшей силой и блеском. Во Франции буржуазная революция имела наиболее глубокий и радикальный характер. Франция — родина утопического социализма, имя столицы Франции Парижа неразрывно связано с Коммуной 1871 года. Для передовых умов остальной Европы Франция долго играла роль учительницы и наставницы. «С представлением о Франции и о Париже, — рассказывает Щедрин, — для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то-есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание... Я в то время только-что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского... инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, отсюда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...»

В представлении многих и многих судьбы Европы, ее культуры, ее будущего были связаны с судьбами Франции. «Если Франция падет, говорил один из моих друзей, — писал Герцен

в статье, озаглавленной «Россия», — надо объявить все человечество в опасности. И это, может быть, верно, — добавлял он, — если под человечеством подразумевать только германо-романский мир». Герцен ограничивал центральную роль Франции одной Западной Европой. Россию, славян он относил к другому, независимому от Запада социально-историческому и культурному процессу. Этим объясняется его ограничительная оговорка.

За последние сто лет Франция вела несколько войн, побеждала и терпела поражения. Как бы, однако, ни менялось военное счастье Франции, никогда еще не было за всю ее историю, чтобы враг оккупировал ее территорию, увел в плен миллионные армии, занял Париж на 44-й день наступления! Франция пала, Париж пал — не начался ли последний акт европейской трагедии культуры, завершаемой гибелью и смертью? И как произошло, что Франция, недавняя победительница, имевшая вполне достаточно ресурсов для длительного сопротивления, капитулировала так быстро, так бесславно? Как случилось, что гордый Париж впустил на свои площади и улицы ненавистного врага?

Роман Эренбурга «Падение Парижа» дает возможность найти ответы на все эти вопросы.

В Илье Эренбурге соединились два дарования — писателя и журналиста. Он обладает способностью быстро переходить с языка публицистики на язык беллетристики. Его художественные произведения ярко злободневны. Ни один современный советский писатель не откликается так быстро очерком, рассказом, романом на то, что поставлено в порядок дня историей, как Эренбург.

По жанру своему «Падение Парижа» относится к социально-политическим романам. Его сюжет образуется не любовной интригой, а событиями, определяющими судьбу целого народа. Нравы, которые живописует Эренбург, характеризуют не частную жизнь французов, а состояние их общественной, политической и культурной жизни. История сердца героев интересует Эренбурга не

силою страстей, а лишь постольку, поскольку в ней отражается моральная атмосфера всего социального организма нации. Различные действующие лица романа выступают как представители определенных социальных слоев и политических течений.

Давно уже прошли времена, когда приходилось утверждать законность подобного рода романа наряду с психологическим, бытовым, авантюрным или историческим. В XIX веке Чернышевский, Щедрин и Глеб Успенский отстаивали права такого рода романа. В советской литературе широкая социальная и политическая тематика стала определяющей и для содержания романа, и для выбора соответствующих новому содержанию художественных средств.

В манере письма, в некоторых особенностях построения сюжета, в деталях характеристики действующих лиц у Эренбурга много ст. европейской, в особенности от французской школы романа, но по типу своему «Падение Парижа» — роман политический и социальный.

Эренбург долго жил в Париже, внимательно наблюдал жизнь Франции, знает ее быт, ее людей, имел возможность следить за тем, как стремительные политические события отражаются на сознании французов, как на них реагировали разные слои населения. За вымышленными героями романа встают их реальные прототипы, в речах персонажей мы слышим отзвуки парламентских речей, газетных статей, реальных столкновений в общественном мнении. Все это придает роману Эренбурга значение свидетельства современника, летописи событий, освещенной определенной точкой зрения, позволяющей уловить их смысл, их историческое значение.

Что же прежде всего бросалось в глаза Эренбургу при наблюдении над жизнью предвоенной Франции? — Хрупкость, неуверенность, необеспеченность существования всего — городов и людей, величественных архитектурных сооружений и маленького счастья отдельных существ. Франция была «оазисом мира». В Германии маршировали

штурмовики, в Италии госпитали уже были переполнены ранеными, в Испании шла война, на Чехословакию Гитлер давил извне и изнутри, — а Франция жила уютно, удобно, ловя миг настоящего, не задумываясь о будущем. «Погиб Лиссабон, но в Париже танцуют...» Но какое же это было неуверенное, неверное счастье, свидетельствует Эренбург, и все это чувствовали, художник и актриса, капиталист и учительница — герои романа «Падение Парижа». Не потому, что во Франции не было людей с прочными корнями, наоборот, таких было большинство, были рабочие, был народ, но жизнь в предвоенной Франции была так устроена, что люди с умом и сердцем не могли не чувствовать, что все висит на волоске. «Мне страшно, что это может погибнуть, — говорит Дессер. — Не здания... Собор Нотр Дам? Лувр? Конечно, все это красота, слава. Но мне жалко другого, того, что в этих домах, счастья, может быть, иллюзии счастья, во всяком случае, спокойствия, тишины, когда слышно, как дышат рядом. Жалко крестин с миндальными конфетами, свадеб — под ноги кладут цветы, даже похорон, когда с кладбища идут закусить горе сыром. Это есть, и это может исчезнуть — от бомбы, от первого уличного выстрела, от воинственной речи в какой-нибудь столице, от поднятых кулаков, от случайности. Конечно, сто лет спустя ее назовут «исторической неизбежностью»...

Хрупкость мира создавалась предчувствием войны, ожиданием войны, которой не хотели, в которую не верили, но тень которой неотступно лежала над Францией, над Парижем.

Франция была больна. Болезнь, разедавшая организм нации и приведшая к катастрофе, была давняя — и характер ее обнаруживался в том, как различные классы населения относились к надвигающейся войне, какими средствами они думали предотвратить ее.

Одной из самых удавшихся и интересных фигур в романе Эренбурга является образ капиталиста Дессера. Дессер — капиталист старой формации, тех времен, когда в Европе еще не сложились фашистские методы подавления

трудящихся. Дессер действовал за кулисами, но по финансовой мощи, по своему влиянию он был одним из подлинных властителей Франции. От его поддержки зависели исход избирательных кампаний, устойчивость кабинетов, характер международных соглашений. Дессер понимал людей, но ценил их невысоко. Тем не менее он любил старую и обжитую Францию и в деятельности своей руководился определенным политическим идеалом: «Он хотел сохранить ту страну, которую знал с детства; ее богатство и косность; непоколебимые устои семьи, с интимными драмами, с ревностью, опережающей любовь, с эпическими тяжбами о наследстве... Мировые интриги в буфете парламента и академические споры — какой аперитив полезней для желудка; протекции, круговую поруку масонских лож, кумовство, придающее высокой политике уют и фамильярность; иронию, распространяющуюся на бога и на медицину, на Францию и на собственную жену».

Дессер хотел, чтобы все шло по-старому, чтобы ничего не изменялось, ибо в изменениях, в движении вперед он видел смерть удобному, обжитому традиционному быту. Ему и казалось, что все и все остаются на своих местах, что ничего не меняется, кроме имен. «Люди не глина, но чевинг-гум — жевательная резина. Поэтому все меняется и все остается. Да что, собственно говоря, меняется? Названия. Настоящее изменение — это смерть. Смерть действительно все меняет. Поэтому я и боюсь смерти. Не понимаю самоубийц. Впрочем, я не то хотел сказать... Вы говорите «революция», но это и есть смерть, не только для меня — для миллионов».

В политике он видел только старую привычную карусель, каждый поворот которой должен был утверждать неизблемость и застой при кажущемся движении. Больше всего считал он своей, французской, рыхлую и болтливую партию радикал-социалистов, к которой принадлежал Даладье. Тем не менее Дессер одно время поддержал французских фашистов, главой которых в романе выступает Бретейль. Но это

было только ходом игрока — ему нужно было свалить кабинет. Достигнув цели, он указал Бретейлю на порог своей приемной. Дессер стал поддерживать народный фронт, бывший для него одной из очередных избирательных и парламентских комбинаций. По его сигналу министры, депутаты, издатели газет, журналисты, радикалы и социалисты, повернувшись налево кругом, часто без всяких промежуточных нюансов, втайне морщась от страха и отвращения, выступили за блок с коммунистами. Но народный фронт не был для народных масс простой парламентской комбинацией. Он сложился после подавления фашистского путча, в дни, когда с грозной реальностью возник призрак войны. От народного фронта ждали действительного улучшения положения трудящихся и действительной политики предотвращения войны.

Эренбург превосходно рисует настроение, которое охватило французский народ под влиянием народного фронта. «Народный фронт... стал дыханием, гневом, надеждой страны... Народ, прославленный своим скепсисом, здесь переживал второе отрочество: увлекался, спорил до хрипоты, бил в ладоши и клялся не уступать. Здесь жали друг другу руки ученый с мировым именем, лауреат нобелевской премии и молоденький стекольщик, вчера написавший наивное четверостишие о новой жизни».

Из событий и эпизодов романа встает неоспоримый и важный факт: нельзя себе представить жизнь и будущее французского народа без рабочих. От того, как чувствуют себя, как поставлены рабочие в республике, зависит порядок в стране, нравственное здоровье народа, его национальное достоинство, оборона отечества, темпы военного производства, дух армии, широта и доброкачественность культурного творчества, сила сопротивления страны в случае нападения. Трудящиеся ожидали от своей избирательной победы реальных результатов: улучшения материального положения и действительного предупреждения военной опасности, серьезного отношения к мерам,

предлагаемым советской дипломатией для обуздания насильников, создания мощного действенного союза демократических государств против агрессоров.

Но не так думали Дессер и другие более непримиримые заправилы предвоенной Франции. Голоса были подсчитаны, министерство сформировано, — их цель была достигнута. Маятник должен был во имя равновесия качнуться снова направо. Забастовка парижских рабочих была воспринята Дессером, как оскорбление, как насилие. Тесса и Виары, персонажи, изображающие в романе министров, выдвинутых народным фронтом, не хотели поддержки рабочих. Они едва дождались сигнала, чтобы перейти к контрнаступлению, чтобы расколоть, взорвать единство нации. Когда правительство применило против мирной забастовки газы, все увидели, что старой уютной сердечной Франции не стало. Маятник качнулся намного правее, чем это было в прошлые годы. Во Франции стал почти невозбранно хозяйничать французские фашисты и полуфашисты, за деньги и за «совесть» служившие Берлину.

Дессер должен был уступить свое влияние Монтиньи. Монтиньи был человеком иной формации, иного склада, иных приемов борьбы. Он ненавидел рабочих зоологической ненавистью, ему была ненавистен язык переговоров, он требовал террора, истребления непокорных. «Это был тупой самодур... На дивиденды истекшего года Монтиньи не мог пожаловаться; но он почитал себя униженным: «Сорок часов!.. Канальи! Разве я считаю, сколько часов я работаю? А я рискую, у меня могут быть убытки. Они-то знают одно: получку. Тунеядцы!» Рабочие для Монтиньи были не противниками, как для Дессера, а людьми другой расы, вернее, даже не людьми. Он мог без конца говорить об их лени и жадности. Напрасно Дессер, уже наученный событиями, предупреждал: «Нам угрожает война. Теперь не время озлоблять рабочих». Монтиньи вопил: «Пора с этим покончить! Другие страны показали нам пример... Пускай бастуют! По крайней мере, мы сможем очистить заводы от коммунистов». Мон-

тиньи верил, что Бретейль обуздает рабочих. Бретейль и работал, как приказчик таких, как Монтиньи. Ненависть к рабочим соединялась и у хозяев, и у их приказчиков с ненавистью к Москве.

Звено за звеном демонстрирует Эренбург цепь предательств, преступлений, безумств, лишивших Францию форпостов ее обороны, расстроивших ее военную промышленность, дезориентировавших народ и армию, парализовавших ее ресурсы перед лицом недремлющего и безжалостного врага. Ясно и доступно для всех вскрывает он механизм, сделавший Францию заманчивым объектом для нападения, приведший ее к войне и поражению. Тут все соединилось воедино — и деятельность прямой агентуры немецких фашистов, и иллюзии, что от Гитлера можно откупиться, жертвуя независимостью чужих стран, и желание сохранить мир во что бы то ни стало, хотя бы ценой унижения и рабства.

Как только определилась угроза, которую представляет для соседей и других, более отдаленных государств фашистская Германия, — промышленники, журналисты, мещане и прожженные парламентские дельцы стали кричать: мир, мир во что бы то ни стало, мир любой ценой. «Лучше быть счастливой Андоррой, безмятежным Монако, чем развалинами Карфагена». Выдавай других, предавай друзей, разрушай союзы, гарантирующие твою собственную безопасность, твою способность защищаться — все во имя мира, ведущего уже к таким результатам, к каким не всегда приводит прямое поражение. «Во-первых, Данциг не стоит французского мизинца, — аргументирует Дессер, — во-вторых, поляки все раскраснут... Негуса мы выдали. Вероятно, отдадим и Балканы... Ничего не поделаешь — мы хотим мира». Напрасно испанские республиканцы предупреждали французских министров: «Если мы погибнем, и вам конец». Интервенция в Испании — только разбег, только создание плацдарма для следующего прыжка фашистского зверя. Виар, твердивший о солидарности демократий и социалистов, со вздохом говоривший, что он предпочи-

тает Асанья Франко, с упорством, заслуживающим лучшего применения, придерживался политики, почему-то получившей название политики невмешательства. «Но они-то вмешиваются», — говорят ему его старый товарищ по II Интернационалу, — «я в таких случаях отвечаю: — повторял свое Виар, — что можно быку, того нельзя Юпитеру... Поскольку мы не хотим войны, нам остается одно: промолчать»: Франция, руководимая Тесса и виарами, в самом деле молчала — молчала и тогда, когда Гитлер захватил Австрию, когда Гитлер и Муссолини задушили Испанскую республику, когда, наконец, Гитлер накинул петлю на Чехословакию, составлявшую важнейшее звено в обороне самой Франции. Франция молчала, хотя международные договоры, несомненные союзики, собственные возможности, соглашнейшие с СССР делали ее сильнее гитлеровской Германии, хотя единый фронт народов, которым угрожала агрессия, мог предотвратить войну, мог не позволить Гитлеру хозяйничать в Европе и готовиться к новым военным безумствам. Безопасность Мадрида и Праги гарантировала безопасность Парижа, кто сдавал Мадрид и Прагу, тот ставил на очередь Париж. Твердая ориентировка на СССР, решительное заявление, что всякая агрессия Германии вызовет сокрушительные контрудары с Запада и с Востока и с Юга (с чехословацкой территории), заставили бы гитлеровских гиеи поджать хвост, ибо первые шаги свои они, несмотря на отчаянный крик и шум, делали с оглядкой, с тайным страхом, что им дадут по рукам. Не государственный разум, не любовь к родине, а предрассудки и животная ненависть к собственным рабочим и к советской стране руководили французскими министрами. Они открыто кричали, что лучше немцы, чем Торез. Дессер, презирая своих партнеров, поддерживал их. Сговариваясь с Тесса о выдаче Чехословакии немцам, он поучал своего собеседника: «...все косятся на восток. Если русские будут с нами, друзья Бретейля станут пораженцами. Если русские пойдут против нас, пораженцами окажутся рабочие... наши буржуа

боятся и поражения, и победы. Пуще всего они боятся, как бы Москва не оказалась арбитром. Вот и войой в таком положении! Я понимаю, что Торез поет Марсельезу. Но ты его не слушай. Песни — песнями, а нужно отступать». Дессер понимал, что при такой политике великая Франция может оказаться просто провинцией рейха, и шел на это во имя покоя, остановки движения, «сохранения окостеневшего общества, его уюта, духоты, скромных радостей».

С мудростью страуса, прячущего голову в песок, Тесса твердил: «Вы увидите, что они пойдут на восток! Там, дорогой мой, нефть. А вы знаете, что такое нефть? Это кровь века». Ему вторил, с дрожью сомнения в голосе, — а вдруг расчет не оправдается! — Виар: «Как тебе сказать?.. Есть шансы, что они пойдут на восток. Тогда мы спасены лет на двадцать»... — и оба покорно склонялись пред волей Бретейля, провокатора, изменника, оплаченного немцами, считая что Бретейль-то и по-может им сговориться с Гитлером.

Политика эта разлагала национальное сознание, надламывала дух наций, вела к всеобщему замешательству. «И не думай понять, — говорит своему собеседнику художник Андре Корно. — Все перепуталось. Кто с кем? Впечатление давки, только никто не двигается с места! А слушать, что они говорят?.. Все равно правды не скажут. Плутуют, стараются друг друга перехитрить. Представь себе, что я сел писать. Тюбики с краской. Нажмешь киноварь, выползает черная; нажмешь белила, а там крап-лак. Нет, лучше не думать!» В этой растленной атмосфере черное в самом деле казалось белым, а белое черным. Депутат и шпион Грандель открыто кричал, что патриотизм — это московская кормушка. Крайне правого депутата, Дюкана, ветерана первой мировой войны, честного человека, любившего Францию и не хотевшего отдавать ее немцам, травили как агента коммунистов. Эльзасский немец шпион Вайс определял настроение на съезде радикалов. Чехов называли «варварами» за то, что они не хотели класть голову в пасть людоеду. В этой нарочитой путанице и

неразберихе, под непрерывную демагогическую трескотню о мире, под настойчивые уверения правительственных деятелей, что войны не будет, Даладье поехал в Мюнхен. Мюнхен был поражением, преддверием катастрофы, а Даладье въехал в Париж как триумфатор. «Отечество в опасности», — гремел радикал Фуже, потомок якобинцев, многое понимавший, несмотря на свою старомодность. «Отечество в опасности? — переспрашивает Дессер. — Ты честный человек и неисправимый оратор. А может быть, отечества уже нет?» После Мюнхена Дессер все понял, но он уже потерял управление событиями. Дессер хотел вооруженного мира, переговоров, компромисса, но люди, стоявшие во главе Франции, искали только способа поскорее капитулировать перед Гитлером. «Сегодняшний день показал, — говорил он, наблюдая триумф Даладье после Мюнхена, — что нам не помогут никакие линии Мажино, никакие вооружения. Что-то надломилось... я убежал сюда, увидев толпу на Елисейских полях. Сделать из дипломатического Седана торжество! Даладье боялся показаться на аэродроме, думал, что его забросают тухлыми яйцами. А они его встретили, как балерину, — цветочными подношениями. Такой народ не сможет защищаться.

— Почему ты обвиняешь народ? — возразил ему Фуже. — Вы в этом виноваты. И ты, Дессер. Я тебе это говорил в начале испанской истории. Нельзя рекламировать трусость как гражданскую добродетель, а потом удивляться, если народ радуется капитуляции. Ты оплачиваешь газеты, которые восхваляют дезертирство. Ты поддерживаешь врагов Франции. Ты хочешь...

Дессер прервал:

— Я сам не знаю, чего я хочу. Моя карта бита. Наверно, как карта нашей страны. Я знаю, чего я хотел: сохранить равновесие, отстоять счастливую Францию среди молодых, голодных и драчливых народов. Не вышло.

Да, Фуже был прав. Народ не был виноват. Народ обманули и предали. И Дессер несет свою долю ответственности. Нельзя обеспечить будущее,

сказав мгновению: остановись! — тем более, что оно вовсе не было прекрасно. Политика застоя питала политику реакции, и застой, и реакция разлагали Францию, ее общественную жизнь, ее культуру. Заправили реакции были злокачественной опухолью на теле Франции.

«Падение Парижа» — роман-хроника, но это роман, а не историческое сочинение. Поэтому главное в нем не изложение и даже не объяснение событий, а раскрытие моральной и общественной атмосферы, сделавшей возможными описанные события. Слепое, корыстное, бессознательно и сознательно изменническое поведение властвующих и правящих групп привело многих к мысли, что нация распалась; что отечества больше нет. «Франция тью-тью», — восклицает Жюлио, редактор газеты, превративший саморазложение отечества в источник своего обогащения. Государство гнило, печать продавалась распивочно и на вынос, утверждая вчера одно, а сегодня другое, в зависимости от уязвок хозяев, от того, кто больше заплатит. На съезде крупнейшей французской партии, радикал-социалистов, командовала нанятая клакерская банда, состоявшая из сутенеров, уголовников, подонков Марселя. В армии генералы выдавали немецким агентам мобилизационные планы, а антиправительственным путчистам оружие. Шпионы выходили в министры. Все это плодило общественный цинизм, давало возможность открыто выступать со статьями «Лучше рабство, чем смерть» и доставляло популярность куплетистам, распевавшим:

Пожить бы только до завтра,
А что впереди, наплевать.

Черви гнездились в той среде, которая правила Францией. Любовники любовниц министров оказывали влияние на ход правительственных дел. Семьи распались, держась только соблюдением кое-каких приличий и внешних условий. Сын Тесса метался от литературы к революции, от революции к дипломатической карьере, от позиций «левее» коммунизма к фашизму, крал документы у отца и отдавал их Бретейлю и через него немцам. Он не удер-

жал женщину, которую любил, насколько только способна была любить его опустошенная душа, и пошел на содержание к богатой американке. Люсьен знал, что он живет в нужнике, из которого не мог, не хотел, не имел сил вырваться.

Тоска, равнодушие, смерть заражала людей талантливых, людей со скрытым огнем, способных на творчество, на подвиг, но не находивших себе ни места, ни цели в неверной и смрадной обстановке. Люди и порядки, надламывавшие государственную мощь Франции, губили и ее культуру.

Андре Корно, художник, равнодушен к политике, он предан только искусству. И он не хочет перемен, но по другим причинам, чем Дессер. Им руководят предрассудки и заблуждения ремесла и призвания. «По-моему, искусство—это другое,—говорит он своему другу Пьеру, деятелю народного фронта,—писать картины, выращивать деревья. А революция — это несчастье, до этого людей надо довести. Вы все схватываете на лету, хотите перемены, а я люблю, когда ничего не происходит. Тогда можно глядеть, то-есть увидеть. Вот как Сезанн: он всю жизнь просидел над яблоками и что-то увидел. Это, по-моему, искусство». Но в мире всегда что-нибудь происходит, отсутствие движения — только иллюзия. Бывает движение поступательное, ведущее вперед и вверх, и движение попятное, ведущее в болото. Не поток событий сам по себе, а реакционный их характер не давал творить Андре. До поры, до времени Андре этого не понимал. Он был человеком «перекати-поле», одиноким, которому реакция была отвратительна, но который еще не сумел слиться с людьми, олицетворявшими будущее Франции. Однако у самого порога войны Андре понял, что творить можно и в буре событий:

«В Никее за два века до нашей эры Гиппарх измерял расстояние между землей и солнцем. А ведь и тогда рассыпались царства, люди лепили богов и жгли отступников, умирали солдаты, звенела медь. Гиппарх составлял каталог звезд.

В другой раз Андре позавидовал судьбе Гершеля. Сын бедного музыканта в осеннее равноденствие взглянул на небо. Он сам шлифовал стекла: у него не было денег на телескоп. Он открыл планету Уран, как открывают девушку в окошке напротив. Над Европой бушевала революция. Наполеон грозился завоевать остров. Питт, как паук, плел коалиции. А Гершель описывал переменные звезды и туманности.

Андре подходит к окну. Ревут газетчики: «Надежды на посредничество Рима!.. Отголоски московского пакта!.. Данциг!.. Данциг!..» И Андре возвращается к любимой книге. В Данциге когда-то жил Гевелий. Он был занят топографией луны: писал, писал. И вдруг пожар; сгорели все записи, все чертежи. Гевелий тогда был стариком. Что же, он снова сел за работу.

«— А я, — говорит себе Андре, — предал краски, изменил кистям.»

Искусству, как воздух, нужно общественное здоровье. В наше время искусство может развиваться только в истинной демократии, в обстановке постоянного обновления и совершенствования. Андре это понял — и в этом залог воскрешения его творческих сил.

Жаннет, актриса, не имеет возможности применить свой недюжинный талант. Знакомый режиссер предложил ей однажды сыграть центральную роль в «Овечьем источнике». Театр был новый и левый. Профессиональные актеры в него не шли: боялись, что он прогорит. Жаннет играла прекрасно. Ей предсказывали будущее большого трагического мастера. На беду Жаннет посредственная, но известная актриса Одеона поссорилась с дирекцией и перешла в новый театр. Ей немедленно передали роль Жаннет, так как ее имя обеспечивало рецензии и сбор. Жаннет безропотно согласилась взять маленькую роль, а затем, для заработка, чтобы жить, стала диктором на радио и рекламировала вермут «Сизано», кровати «Насиональ» и благоденствие Франции. Но не деньги, не материальные условия преградили Жаннет дорогу. Что и говорить, это большие препятствия, но все же не непреодолимые. Дессер сказал

ей: «У вашего режиссера нет денег. Это пустяки...» И это было бы в самом деле пустяками, если бы Жаннет видела, чувствовала, знала, что ее искусство нужно людям. Жаннет отказалась. «Нет. Я теперь не смогу сыграть... Когда говоришь, нужно верить каждому слову. Если нет, и зрители не верят, — тогда в зале тихо, но кажется, что голос пропадает. Вы не понимаете? Я пропала. Когда-то я верила...» Люди, отравлявшие Францию, застали глаза и Жаннет. Она не могла проникнуть взором сквозь туман. Рефреном всей ее жизни стала стихотворная строка: «Обманутой дано мне умереть». Да, жизнь обманула ее в творчестве, в искусстве и в любви — потому что смрад гниения, вовсе не охватившего всего народа, был, однако, настолько силен, что пригибал к земле личные судьбы людей, даже честных и одаренных, но по каким-либо причинам оторванных от истоков обновления Франции.

Души поэтические и совестливые инстинктом чувствуют, что в любви, в ее страданиях и в ее счастье обнаруживается характер века, степень его эмансипации, его философия, его страхи и его надежды. Андре и Жаннет встречаются. Они полюбили друг друга любовью, многократно воспетой всеми романтическими писателями. Но они не могут быть счастливы, они больны одной и той же болезнью — одиночеством, отсутствием органических связей с окружающим миром. Оба слишком сознают хрупкость окружающего мира, хрупкость и мишурность его счастья. Жаннет сходится с Дессером, но и он нищий духом, он тоже «перекати-поле», только катятся они в разные стороны. Настоящей любви между ними нет, потому что из жалости не скрывать любви. Жаннет переживает не грусть, а спокойное, сосредоточенное отчаянье. Она знает — оба пропали, обоих ждет конец, смерть, забвенье.

Так действует яд, излившийся из верхних этажей предвоенной Франции, на существа чистые и одаренные, при других обстоятельствах жившие бы полной жизнью, социальной, творческой, личной. Эти люди заблудились, забре-

ли в тупик, беда их состояла в том, что они были «перекати-поле», не сумели пробиться сквозь груды хлама и мусора к живым народным пластам.

Дессеру казалось, старая Франция гибнет, со своей былой славой и со своей цивилизацией, как некогда погибла Византия. Конец цивилизации мерещится и Люсьену: «Через двадцать веков найдут в земле зажигалку «Донхилая», мотор «Мессершмитта», череп благородного Виара и пойдут вздыхать: «Удивительная была цивилизация».

Оба ошибались. Описанная Эренбургом болезнь была не концом цивилизации, а только концом переживших себя слоев, ставших виновниками неслыханного поражения Франции.

Пришла война как логическое завершение компромиссов и уступок, ибо людоеда нельзя умиловить уступками. Пришла неожиданно, застав неподготовленными и сердца, и штабы.

Война все проверила, всему подвела итоги, всему произнесла приговор.

Мюнхенцы вели войну — они и вели ее по-мюнхенски. Немецкий шпион Грандель был поставлен во главе военной промышленности. Председателем союза промышленников был Меже, ответивший на упрек, что он продолжает поставлять немцам бокситы, следующей фразой: «Это — клевета. Но у меня есть программа...» Его программа была проста: воевать нужно не с Берлином, а с Москвой. Грандель, руководившийся советами Бретейля, попрежнему продолжавшего за кулисами играть руководящую роль, не нашел ничего более своевременного, как начать изгонять самых квалифицированных рабочих из военных заводов под предлогом чистки от коммунистов. Генерал Виссе, веривший в бога и в долг, пришел к Тесса доложить о вопиющих, о преступных дефектах в организации армии и ее снабжении. Тесса его выставил со словами: «Вы не учитываете специфики этой войны. Это скорее вооруженный мир». Убитому немецкому летчику устраивают торжественные похороны, а Жюлио запрещают называть немцев «бошами». Тесса ведет переговоры с итальянским послом: «Что значит Дан-

диг, да и вся Польша по сравнению с судьбой цивилизации? Скажем прямо: наш общий враг — Москва! От борьбы на Карельском перешейке зависит будущее не только Парижа и Рима, но и Берлина». Финские банкиры и бароны напали на СССР. Бретейли, грандели, тесса и Ко ухватились за финский козырь, чтобы при его помощи сговориться с Германней о мире за счет помощи ей в походе против СССР. Возможность победы Германии не тревожила ни Тесса ни Виара, а вот коммунистов они исключили из парламента и предали суду. Правительство и военные власти не дали укрепить бельгийскую границу. Они сделали все, чтобы облегчить немцам вторжение. Меже и грандели боялись только одного: как бы не пришлось втянуться в настоящую войну. Когда немцы уже начали наступление, французские танки и по нераспорядительности, и по злому умыслу остались в бездействии. Что же удивительного, что немцы нередко попросту ехали вперед. Париж объявили открытым городом. Генерал Денц расклеил приказ о расстреле всех сопротивляющихся немцам. Оборудование с парижских заводов не эвакуировали. А вслед за Парижем все города Франции объявлены были открытыми, то-есть немцам было сообщено, что их защищать не будут.

Незадолго до падения Парижа Дессер посетил Тесса. Он понимал, что такая война есть предательство. Он пытался еще образумить, усомнить. Дессер заговорил:

«— Завтра они могут занять Париж. Остались считанные минуты. Уйдите! Или скажите, что вы будете сопротивляться, но честно, всерьез. Повсюду шпионы. Нужно арестовывать, расстреливать. И не рабочих — Гранделя, Бретейля, Пикара.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? Конечно, мы старые друзья. Но я занимаю ответственный пост, я — министр, а ты мне предлагаешь государственный переворот?

— Я предлагаю тебе уйти. Или воевать. Париж можно защищать — улицу за улицей...

— Пожорно благодарю! Чтобы госпо-

да рабочие устроили Коммуну? Нет, я предпочитаю сохранить честь.

— Но Франция...

— Франция оправилась после семьдесят первого, она оправится и теперь.

— Тогда держался Бельфор, сражались на Луаре, Гамбетта поднял ополчение, Париж выдержал осаду, были партизаны. А теперь стоит им показаться, как все разбегаются.

— И ты предлагаешь?

— Сопротивляться. Если нельзя удерживать Париж — на Луаре. Если они прорвутся дальше, уйти в Алжир. Я готов все отдать: не только деньги — жизнь. И таких, как я, много... Пойми, вам никто больше не верит.

Тесса обиделся:

— Мы не нуждаемся в твоём доверии. Нас поддерживает парламент, то-есть страна. Завтра ты скажешь, что мы должны уехать на Мадагаскар...

Дессер как будто проснулся — до чего он дошел: пытается усомнить Тесса!

Эренбург оперирует вымышленными именами, он группирует события, как романист, но все это — подлинная правда, ничем не затемненная, объясняющая и причины поражения, и ход этой несчастной кампании.

Париж пал перед «победителями», как падает спелая груша на землю, не доставляя труда, чтобы ее сорвать.

А Франция могла держаться. Было кому и было чем ее защищать. Французские солдаты, вопреки воле правительства и верховного командования, проявили много мужества, выдержки, готовности биться до последнего за славную свою родину. Группа солдат, вместе с Андре Корно, решила отстоять свои позиции. Уходили беженцы, среди беженцев шли военные, многие без винтовок. Немцы были близко, приближались вражеские танки. Но как только произнесено было слово, что нельзя уходить, — все стали на свои места. Темные мысли, сомнения улетучились. Осталось чувство: «нельзя уйти».

«Нельзя уйти» — потому что война перестала быть политиканской игрой парижских министров, потому что немцы несли реакцию, поругание, рабство,

смерть. И не ушли, отстояли позицию, отбили занятую деревню. Но потом приехали из штаба на мотоцикле с приказом: «отступить».

Часть, в которую входил коммунист Мишо, была расположена в маленьком пикардийском городке. Жители ушли — из восемнадцати тысяч осталось сто человек. Одна из оставшихся женщин робко спрашивает Мишо:—

«— Уйдете?»

— Мы только пришли...

— Говорят, что уйдете. Все убежали. Я осталась — у меня мать больная. Я ей говорю — не уйдут...

Мишо улыбнулся:

— Конечно, не уйдем. Это безобразно, что делается! Люди несутся куда глаза глядят. И никто их не останавливает. Хороши! Хотели нас в Финляндию отправить... А только немцы сунулись — разбегаются. Позор! Эх, будь у нас другие люди!. Но вы не отчаивайтесь — мы не уйдем. Погреб у вас есть? Тащите туда все и сидите. А мы как-нибудь справимся...»

После грохота боя пришла тишина. «Постепенно доходила до сознания простая и диковинная вещь — они отстояли город.

Фабр подошел к Мишо, бормочет:

— Молодец, Дон-Кихот! Ты кем был в Испании?

— Лейтенантом.

— Полковник тебя за это хотел посадить. А я... Я сегодня произвел бы тебя в генералы, будь моя воля. Ты, гсворят, коммунист? Смешная история!.. Вот вы какие!..

Фабр вытер глаза и приложился к флажке с-ромом.

— Попробую с штабом связаться. Надо их порадовать...

Он услышал тот же равнодушный голос. Вчера ему сказали: «Держитесь во что бы то ни стало». Сегодня выслушали и ответили: «С темнотой оставьте город». Он крикнул: «Почему?..» — «Перегруппировка...» И Фабр, бросив трубку, выругался:

— Генерал?.. Кишка он, а не генерал!..

Мишо говорит товарищам:

— Изменники! Сдают страну...

Все поняли, знают, молчат...

Мишо угрюмо шагает по пыльной дороге: это длинная дорога. И это — дорога отступления. Сегодня в полдень, среди зноя и тишины, ему померещилась победа...»

И Мишо, и его товарищи, несмотря ни на что, затаили в душе это видение пока только на миг появившейся перед их глазами светозарной победы.

III

Ответственность за поражение Франции ложится не на народ, не на солдат, не на пережившую будто бы себя французскую культуру, которая на деле продолжала оставаться попрежнему жизнеспособной. Проверка войны показала, что антинародная политика является вместе с тем и антинациональной политикой, что в разгроме Франции, в падении Парижа виноваты насквозь прогнившие, своекорыстные, тупые, трусливые и предательские верхи.

Рисуя от страницы к странице позорные картины крушения и разгрома, Эренбург показал в то же время, что во Франции есть силы самосохранения и силы движения вперед, что будущее Франции не безнадежно. Поэтому роман Эренбурга является книгой бодрости и надежды, книгой веры в освобождение французского народа и воскресение его творческой деятельности.

Есть другие французы, кроме тех, что потеряли и предали Францию. Кто они? В романе Эренбурга — это коммунисты — рабочий Мишо, дочь Дессера — Дениз, беспартийные — инженер Пьер Дюбуа, его жена, учительница Аньес, художник Андре Корно, Жано, Клеманс Легре, Лорие и другие персонажи, действующие на заводах, на народных собраниях, на полях битв в Испании и во Франции. Они — костяк французского народа, защитники его чести и достоинства, его завтрашний день. Они любят свою родину, свою Францию, с ее великими традициями и ее былой славой — и именно поэтому они против покоя, против остановки, за перемены, за движение вперед. По-старому жить нельзя — война это доказала даже слепым. Даже воевать нельзя теперь по

старым правилам. Попытка сохранить все по-старому привела к позорному краху. Живет только живое, только развивающееся. Мишо, Дениз хотят все переставить, все переменить. Для них политика — не низкая игра, не путь к индивидуальному обогащению, а дело народа, его дыхание, его надежда, его жизнь. Тишина, покой, уют, которые хотел сохранить Дессер, оказались обманом. Их нарушили гудение моторов, вой сирен, бомбы. Кто против реакции, кто за движение, за прогресс, те охраняют нацию. Мишо, Андре доказали это на поле сражения, они бы отстояли всю Францию.

Так бывало и раньше — эмигранты шли с интервентами в конце XVIII века, версальцы помогали пруссакам в 1871 году, потомки и вырождающиеся эмигранты — Бретейли и К° стали прислужниками Гитлера. Только истинная демократия обеспечивает и порядок, и безопасность, и развитие, а демократии не сохраняются без противодействия реакции.

Вандалами, разрушителями национальных и культурных традиций, изуверами, не признающими ни прошлого, ни будущего, являются фашисты — гитлеровская банда и их французские подголоски. В размышлениях Люсьена, одним движением перешагнувшего с позиций ультра-левого «коммунизма» на позиции фашизма, выразилась в сжатых формулах диаметрально противоположность фашизма и коммунизма. Люсьен «познакомился с одним из руководителей фаланги, худым, унылым майором Хосе Гуарнесом. Это был человек иступленный и в то же время холодный. Днем он расстреливал, по ночам проповедывал. Люсьен с изумлением видел, что испанский офицер повторяет его затаенные мысли. Хосе говорил о священности иерархии, о великолепии неравенства, о подчинении толпы уму, таланту, воле. И Люсьен вспоминал свое парижское унижение, тупицу из «Юманите», посредственность Пьера, Пьеров, арифметику выборов, свое превосходство, никем не оцененное. Фалангисты огнем добились признания. Хосе пишет памфлеты, не считаясь с мнением порт-

ных или землекопов. Люсьен всегда говорил, что старый мир можно опрокинуть только смелостью единиц, заговором. Коммунисты в ответ смеялись; они толковали о воспитании народа, об активности масс. Они живут прошлым: Маркс, Коммуна, демократия, прогресс... Как они не видят, что марксизм связан с Декларацией прав, с энциклопедистами, с верой в науку, с отвратительной идеей о положительном начале человека? Общество не четырехугольное здание, как этот дом, но пирамида! Торжествуют новые нормы: восторг перед силой, вместо книг — спортивные рекорды, вместо докладов и дебатов — вооруженный захват правительственных зданий, вместо выборов — сначала автоматические ружья, потом колесницы празднеств.

Было в словах испанца еще нечто, вдохновлявшее Люсьена: культ смерти. Давно, после смерти Анри, Люсьен понял значительность небытия, его власть над всеми реакциями молодого и живого сердца. Он написал об этом роман. Увлечение коммунизмом было оптической: он на минуту заразился чужим весельем, детской суматохой, раболопным отношением к молодости. Для Хосе, как для Люсьена, смерть была не только предметом раздумий, но абсолютной ценностью, коррективом к случайной и поэтому шаткой жизни».

Это рассуждает Люсьен, неопит фашизма. Он превозносит своих новых хозяев, он старается унижить демократию и социализм, но, как у библейской ослицы, хула его превращается в хвалу, в гимн жизни, человеку, народу, демократии, социализму. Да, корни демократии и социализма уходят в XVII и XVIII века и еще дальше. Декларация прав и энциклопедисты — их предшественники. Демократия и социализм берут с собой, в свой путь, великие ценности, созданные прошлыми поколениями. Они обеспечивают преемственность человеческой культуры. Они творят новое, опираясь на достижения прошлого. Они — хранители традиции, потому что они новаторы. Сокровища прошлого живут не в музее, а в живой жизни, текущей, изменчивой, поднимающейся со сту-

пени на ступень. Демократия и социализм основаны на вере в массы, на вере в человека, на стремлении к равенству людей, независимо от их положения, расы, языка, религии. Культу смерти они противопоставляют культ жизни — и они несут с собой оздоровление нации, моральное здоровье.

Люсьен называет коммунистов мещанами за то, что у них семьи, дети. «Четверо детей, старший сидит, готовит уроки, а палаша ему помогает». Но это от того, что сам он не способен к истинной любви. Его привязанность к Жаннет — не настоящая любовь, его метания — от пустоты, от бесплодия. Нет любви и у Дессера. Жизнь не дала любви и семье Жаннет, Андре. А люди народа любили и заводили семьи, как это было у всех поколений, не зараженных старческим маразмом, не размышлявших о конце цивилизации. Любят друг друга Мишо и Дениз, любят друг друга Пьер и Аньес. Любовь Дениз к Мишо, их долгие беседы, посещение народных собраний, рабочих митингов помогли Дениз найти себя, найти место в жизни, освободили ее от мертвечины и тлена отцовского дома. Сквозь войны и опасности оба пронесут свою любовь, как неугасимый огонь. Тепло верности, устойчивость душ сопровождают их в испытаниях, облегчают им трудности борьбы и придают их мечтам о будущей жизненной теплоту, давно уже потерянную теми, кто поражен гниением, развалом, разложением и смертью.

Будущее Франции в руках ее действительно верных детей. Они бережно перенимают славное наследство великой французской культуры и обогащенным передадут его своим потомкам. Та Франция, которая не сдалась, которую обманули и предали, но которая живет и ждет часа избавления, не истощила своих творческих сил. Люди труда и борьбы только подходят еще к тому, чтобы показать, на что они способны. Мишо обнаруживает свою творческую натуру везде и во всем. Его интересы широки и разносторонни. Он увлекается техникой, архитектурой, жизнью соседних и далеких народов, он жадно читает самые разно-

образные книги. Мишо распространяет вокруг себя бодрящую атмосферу, он разгоняет тоску, апатию, при его помощи Пьер, Дениз и сотни других находят в жизни и смысл, и цель. Такие, как Мишо, создают атмосферу, в которой науки и искусства растут и ширишь, и вглубь, не зная остановки, преодолевая трудности, казалось бы, непреодолимые при господстве тех, которые, по словам Блока, не живут, а томятся и мнут белые цветы. Талант Жаннет — и тысяча подобных ей одаренных женщин и мужчин — погиб. Однако в романе Эренбурга есть момент, показывающий, как мощно он мог бы развернуться и что для этого нужно было. После победы народного фронта рабочие на авиационном заводе «Сэн» потребовали улучшения условий труда, заключения коллективного договора и платных отпусков. Хозяева ответили отказом. Началась забастовка, во время которой рабочие решили не покидать завода. В один из вечеров забастовщики решили устроить концерт. «Мишо накануне позвонил в Дом культуры: просил помочь. Горбун Марешаль разыскал своих актеров. Некоторые ответили, что заняты. Жаннет сразу согласилась, хотя она не успела еще оправиться после операции...

Программа концерта была разнообразной. Марешаль прочитал стихи Рембо о мертвом солдате; магия слов дошла до слушателей; стояла плотная тишина. Потом певица исполнила романсы Равеля; она покорно биссировала и улыбалась среди красных флагов и листов железа. Кочегар-любитель спел песенку Мориса Шевалье: «Париж остается Парижем». Все подтягивали и смеялись: нет, Париж уж не тот! Настал черед Жаннет.

Никогда она не чувствовала такого подъема. Ей казалось, что после долгих месяцев немоты, когда она повторяла перед мертвым микрофоном бездушные слова реклам, ей вернули дар речи. Ее огромные глаза пылали среди фонариков, а голос потрясал людей до слез. Она прочитала монолог из «Овечьего источника». Когда она кончила, ей ответила буря рук. Крики прерывали аплодисменты; это кричал народ Фуэнте

Овехуна, который она, не бедная актриса Жаннет, но героиня Андалузии, вела к победе. Жано, подбежав к подмосткам, крикнул:

— «Идем!»

Он не знал, куда зовет, зачем; он только отвечал глазам Жаннет. А она тихо улыбалась, измученная и счастливая.

Подошел Пьер и, схватив руку Жаннет, сказал:

— Вы прекрасно читали!.. И как хорошо, что вы приехали! Видите, как они вас понимают! Это не театральная публика, это живые люди.

На минуту Жаннет стало грустно: она вспомнила свое одиночество, маленькую неопрятную комнату в гостинице, куда она переехала, тишину радиостудии и пошлые слова реклам. Но тогда раздалось пение; рабочие втянули: «Это юная гвардия...» Тысячи рук поднялись, как деревья невиданного леса, как мачты в гавани. И, ни о чем не думая, во власти шума и слез, Жаннет тоже подняла свой детский кулак...»

Беспечный Париж, веривший обещаниям провокаторов и обманщиков, что войны не будет, распевал популярную песенку «Париж остается Парижем». Париж, борющийся за человеческое достоинство, за справедливые условия труда, звавший в поход против поджигателей войны и имевший реальную программу предотвращения войны, знал, что прежде всего нужно сломать старую рутину, поверить в благо изменений и новаторства. Зато какой подъем довольства и культуры могло бы принести осуществление его целей, какой простор он мог предоставить искусству, почва которого — жизнь, искусству, а не ухищрению ремесла.

Этот настоящий Париж сознавал, какие в нем скрыты возможности, сознавал он также, что несмотря на неиссякающие творческие способности народа, культура стоит перед страшной опасностью, грозящей все проглотить, все бросить в пучину варварства. Дениз написала Мишо: «Все должно решиться в бою — лет на сто, судьба не только наша личная — нашей цивилизации. По сравнению с этим другое бледнеет, от-

ходит на задний план». Да и Мишо, и Дениз, и Пьер, и Жано, подстреленный бандитом Бретейля, и его мать, и тысячи, и тысячи других борются не за себя только и не за свое только поколение — они борются за народ, за Францию, за судьбу нашей цивилизации, за продолжение культуры.

Как все живое, Франция, которая фактически не была втянута в бой с гитлеровской армией, обладает огромной силой сопротивления, самоотверженностью, способностью переносить удары и копить силы для нового отпора, для победы. «Пока хоть один человек держит винтовку, ничего еще не предпрешено и не проиграно», — пишет Дениз своему возлюбленному Мишо. Однако оказалось, что победить трудно, как выразился Мишо. Начал это понимать и, более легковерный Пьер. «Победу когда-то изображали с крыльями. А у нее тяжелые натертые ноги, в крови и в грязи». Но она придет и спасет Францию, французский народ, французское искусство, французскую культуру.

В оккупированном Париже, у лавки, стояла длинная молчаливая очередь. Изредка перебрасывались словами о пропавших без вести. У одной исчез муж, у другой сын. «Старичок в очереди вздохнул: — А Франция?.. — Никто не ответил, но все подумали: тоже пропала...» Но Франция не пропала. Многие в эти тяжелые дни впервые обрели Францию. Из глубокого подполья коммунисты продолжали говорить с французским народом. Дениз писала листовки. «Париж... колыбель революции... Город Коммуны... Сердце Франции... Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят всеми брошенными. Голоса пленных — они на дорогах бьют камень, над ними издеваются гитлеровцы. Голоса беженцев — длинные страшные дороги, а люди бродят, бродят... Говорил французский народ. И дальше — другие... И маленькая женщина, одна, в пустом городе слышала плач, тишину, слова гнева и надежды. Она писала, не останавливаясь, будто ей кто-то диктует». Габриэль Пери, Семар и тысячи имен, которых мы не знаем, умерли, застрелен-

ные палачами в отместку за сопротивление — но предсмертный голос их дошел до французов, как голос мести и веры в воскресение, в новую жизнь Франции.

Аньес, как многие французские женщины, не интересовалась политикой. Ее волновали только судьбы отдельных людей. Пьера, мужа ее, убили на войне. Она осталась одна в чужом, оккупированном Париже с ребенком, с Дуду. Она спрятала и помогла бежать двум французам, направлявшимся в Англию, к де Голлю. Ее схватили, привели к немецкому полковнику. «Полковник предложил Аньес сесть, сказал:

— Я хочу вас спасти. Скажите, кто эти люди? Неужели вам не жалко вашего сынишку? Я вам это говорю как отец — у меня две дочери...

Аньес изумленно на него поглядела; он вывел ее из другого мира. Ответила она глухо, как будто разговаривала сама с собой:

— Жаль сына?.. Нет... Я сегодня все поняла... Если один умирает, он кого-то спасет, обязательно спасет... Народ... Мой народ... (Она вспомнила, что ее допрашивают, встала, обычно сутулая, выпрямилась и заговорила чужим голосом.) Вы — отец? Неправда! Да вы знаете, кто вы? Бош! Бош!

Полковник позвал часового: «Уведите».

— А вам, сударыня, конец...

Глядя мимо него, она ответила:

— Не Франции... И не конец... Конца нет...»

В эти дни поражения и поругания художник Андре Корно, человек честный, талантливый, глубоко преданный своему призванию, но одинокий, без корней, «перекати-поле», понял, что такое народ. Жертв было не счесть. Погиб Пьер, погибла Аньес, убита была Жаннет в толпе других беженцев, погиб нелепой смертью беспутный Люсьен, погиб честный Дюкан, застрелился Дессер, который раньше боялся только одного изменения, одной перемены — смерти. Но, вопреки, казалось бы, логике, именно теперь люди, раньше тяготившиеся жизнью, начинали пони-

мать, что жить стоит, есть ради чего жить.

Несмотря на все несчастья, на горы трупов, на медленную агонию жителей, попавших под пяту оккупантов, на тяжесть предстоящей борьбы, Мишо твердит:

«...Счастье будет, Дениз, большое счастье! Неужели не веришь? Ты пойми: мы победим. Это совсем просто, как то, что день после ночи или весна после зимы. Иначе и не может быть. Иначе не бывает. Какие у нас чудесные люди! Душу отдать готовы. А кто у них? Грабители. Или выродки. Обязательно победим! И тогда будет счастье. Как о нем стосковались люди! О большом и простом счастье. Самом простом: жить, дышать, не бояться шагов, не саушать сирен, нянчить детей, любить, вот как мы с тобой... Будет счастье, Дениз...

Она ответила торжественно, как аминь:

— Будет.»

«Падение Парижа» — книга победы. Временный успех в неокончившейся войне не имеет решающего значения. Решающее значение имеет не кровавое насилие, а правда в сочетании с силой, воля выстоять, воля победить.

IV

Книги Эренбурга, выходявшие на протяжении многих лет, воспроизводят мысли и настроения, характеризующие эволюцию многих кругов европейской интеллигенции, размышлявших о судьбах европейской культуры. «Хулио Хуренито» — своеобразное отражение кризисных лет в Европе после первой мировой войны. Ложность утверждений, что война больше никогда не повторится стала ясна для всех. Солдаты стран Западной Европы, вернувшиеся по домам, застали безработицу и нищету. Все было сдвинуто с места, все моральные устои потрясены, будущее, казалось многим, не обещает ничего светлого, а надежды на переустройство мира на началах справедливости не оправдались. Наблюдения над европейской жизнью развили в Эренбурге тех лет скептицизм. Ему казалось, умерли любовь,

вера, выродилось искусство, оправдывается диагноз, поставленный больной Европе Достоевским в «Братях Карамазовых». Европа катится к своему закату. Это и составило лейтмотив «Хулио Хуренито», книги, в которой все подвергнуто сомнению, осмеянию, в которой, несмотря на веселую, ни на минуту не пропадающую усмешку, господствует настроение горькой покорности судьбе: круг европейской культуры завершился, пойдут столетия одиночания, нового варварства, «блаженного идиотизма».

Однако как ни велик был хаос, сделавший возможным повторение мировой войны в еще более широких масштабах, становилось все яснее и яснее: вовсе не умерли добрые человеческие чувства, вовсе не потеряли своей ценности устои нравственности, вовсе не исчезла пытливая жадность к науке и искусству, не умерли надежда и вера в мир и счастье. Во всем мире жили и мужественно боролись защитники демократии, социализма, прогресса. Культурное творчество продолжалось. Все яснее и яснее вырисовывалось перед изумленными взорами европейских наблюдателей культурное восхождение СССР, знаменовавшее не дряхлость, а молодость, свежесть сил культуры. В эти годы Эренбург написал роман «День второй», эпиграф к которому мог бы быть взят из Брюсовского «Nabet illa in alvo»:

И снова стали свежи розы
И первой — первая любовь.
Людьми изведенные грезы
Неведомыми стали вновь.

Когда Гитлер провозгласил свою чудовищную программу варварского опустошения мира, Эренбург стал вести борьбу против фашистской опасности, за культуру, отстаивающую свое существование и свое будущее.

В очерках, статьях, корреспонденциях он изо дня в день, из часа в час не уставал твердить: фашизм, гитлеризм не имеет внутренних сил, он живет, растет и разрушается чужим попустительством. Неизмеримо могущественней гитлеровских банд те силы, которые борются за сохранение культуры, за закон человека против закона зверя, за свободу народов

против диктатуры разнузданных выродков. Дайте им только действовать, дайте им возможность вмешаться, не отдаляйте часа контрудара! Каждый день промедления делает борьбу более трудной, более опасной, требует лишних жертв кровью и телами лучших людей! Вот что твердил Эренбург в каждой телеграмме своей, каждой буквой, написанной им в дни испанских событий, в дни Мюнхена. Волка нельзя утихомирить, подкармливая мясом. Гораздо вернее, экономнее и честнее другое средство, о котором рассказал русский баснописец Крылов в басне, посвященной Кутузову, победителю Наполеона: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой.

1940 год застал Эренбурга в Париже. Он был свидетелем оккупации великого города гитлеровскими солдатами, он видел, как трусы, изменники и ничтожества предали свой народ.

Но не только это видел Эренбург во Франции. Он видел людей, в груди которых не перестало биться мужественное сердце великих предков, людей, не предавших идеалов гуманизма, свободы, культуры.

Все это он описал в «падении Парижа», в книге, родившейся из твердой уверенности, что цивилизацию можно защитить, из сознания, что Европа стоит не перед остановкой и гибелью культуры, а перед новым ее подъемом.

Однако европейская культура в самом деле стоит перед грозной опасностью, новые кимвры и тевтоны в самом деле у ворот, и если б не мощь СССР, современная цивилизация рухнула бы под напором зловоонного фашистского потока.

В нашей печати было опубликовано изречение фашистского «ученого» Бергмана: «На развалинах мира водрузит свое знамя та раса, которая превратит весь культурный мир в дым и пепел». Известно также, что в откровенных беседах с ближайшими своими сообщниками Гитлер охотно называл себя варваром. И дело, наконец, не в цитатах, не в многочисленных цинических признаниях гитлеровцев, — практика войны все показала, всему подвела итог. Фашистские разрушения и зверства — это педанти-

чески приводимый в исполнение план безжалостного уничтожения национальных культур, насаждения дикости, установления рабства, истребления народов. Тут не нужны никакие теоретические доказательства, тут все ясно, независимо от того, апеллируют ли при этом гитлеровцы к «традициям» тевтонских дикарей, или нет.

Условия войны, жалкие потуги сколотить международный «крестовый поход» против СССР заставили даже косноязычных гитлеровских палачей заговорить о «культурной» миссии фашизма. Но им никого не удалось обмануть.

«Говорят, что немецкие фашисты, — сказано в первомайском приказе товарища Сталина, — являются носителями европейской культуры, ведущими войну за распространение этой культуры в других странах. Это, конечно, ложь. Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, поджигающие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности народов Европы, — могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты являются врагами европейской культуры, а немецкая армия — армией средневекового мракобесия, призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой «культуры» немецких банкиров и баронов.

Так говорит опыт войны».

Действительная опасность, грозящая европейской культуре, заключается не только в ордах дикарей, не во внутреннем истощении творческих сил, а в империалистической реакции гитлеровской Германии.

Германские фашисты не поняли опыта веков. При помощи русских они избавились от владычества Наполеона. В Бунцлау, на обелиске, в честь Кутузова немцы, тогда еще не потерявшие способности к благодарности, написали: «До сих мест полководец Кутузов довел победоносные войска российские, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас

отечество свое и открыл пути освобождения Европы. Да будет благословенна память героя». О каком немецком генерале могли быть сказаны подобные слова? Войну 1914—18 годов немецкие империалисты проиграли. Совершенно очевидно для всех непредубежденных людей, что псы немецких империалистов проиграют и теперешнюю войну. Ни покорить мир, ни разрушить культуру, с тем, чтобы на развалинах его установить режим прусско-фашистского варварства, им не удастся. Но зато им удалось обескровить Германию, привести ее к упадку и затруднить творческие процессы в самом немецком народе.

Некогда Гейне в «Зимней сказке» дал понять, какой аромат может принести с собой все нарастающая немецкая реакция. По предложению богини, покровительницы Гамбурга — Гаммонии он заглянул в котел, стоящий под ночным тронном Карла Великого — и в его зловонном кипеньи он предугадал то, от чего он так страстно хотел избавиться свою родину:

Мерзавцы, которые сгнили давно,
Исторически только воняя,
Они испускали последний яд,
Смесь падали и негодая...
И пахло кровью, вином, табаком,
Висящими подлецами...
И пахло пуделем, мопсом, хорьком,
Которые нежно лизали
Плевки властей, и с чистой душой
За трон и алтарь издыхали.
Таков он был, живодерский дух,
Гнилой, ядовитый, тяжелый, —
Там весь собачий цех лежал...
Я помню прекрасно о том, что Сен-Жюст
Однажды сказал в Комитете:
Что мускусом с розовою водою
Болезни не вылечишь эти.
Но этот немецкий грядущий дух
Все превзошел вероятно,
Все, что мог представить мой нос, —
И больше не мог дышать я.

(Перевод Ю. Тынянова).

Размеры, жестокость, подлость фашистской реакции в Германии в самом деле превзошли всё, даже то, что представлял себе Гейне, хорошо знавший, на что способна реакционно-прусская падаля. «Национал-социализм», уже в самом названии своем содержащий подлый обман, отбросил далеко назад Германию и германский народ. Фашизм принес много бед всем народам, но все

потуги его уничтожить у народов национальную память, разрушить их культурную жизнь, прекратить поступательный ход мировой культуры потерпели полное фиаско. А вот уровень культурной жизни Германии он резко понизил и способность ее к культурному творчеству на ряд лет сузил. Гитлеризм не только превращал в пепел материальные ценности германской культуры: сжигал книги, уничтожал картины, снимал памятники, придавил все области немецкой жизни непосильным бременем расходов на вооружение и войну; не только истреблял десятками и сотнями тысяч драгоценнейшие кадры культуры — казнил цвет немецкого народа, его интеллигенцию всех специальностей, изгонял ученых, писателей, художников, уменьшил число высших учебных заведений — он еще растлил души целых поколений, отравил трупным ядом сознание молодежи. Болезни эти лечат — по слову Гейне — не мускусом и розовой водой, а лекарствами по рецепту Сен-Жюста.

V

Одно из главнейших достоинств «Падения Парижа» заключается в том, что Эренбург показал в нем, какое значение имеет СССР, передовая русская культура, Москва для людей Запада, борющихся за свободу и культуру. Их оптимизм, их бодрость, их способность не складывать рук перед бедой питаются верой в мощь великой советской державы. Подъем культуры в СССР воодушевляет их самих на творческие подвиги. В СССР они видели и видят плотину, которая сможет выстоять перед напором реакции. Красная Армия порвала силы фашистской военщины. Красная Армия первая в мире показала, что гитлеровцев можно бить и показала, как ее бить. Красная Армия оправдала надежды лучших людей демократической Франции, которые олицетворены в романе Эренбурга в образах Пьера, Андре, Дениз, Мишо. СССР является для них свидетельством, что правда и справедливость — не пустые слова.

Вот почему французские рабочие, сражаясь против Гитлера, пели песню сибирских партизан. Вот почему Мишо в

Париже грезил о городах, заводах и театрах, поднимающихся в далеких степях Казахстана. Все между собой связано, прогресс одного народа, одной семьи народов облегает прогресс другим народам. Мишо предвидел дни, когда Франция, с новой энергией взявшись за обновляющий труд, начнет возводить у себя заводы такого масштаба, как Магнитогорск. Передовые французы обращают свой взор, полный надежды, на Москву, где Пушкин благосклонно и доброжелательно взирает на новую, незнакомую жизнь, в музыке которой звенят и его стихи. «Мечта стала жизнью, странной, огромным государством. И этого больше никто не скроет, не вычеркнет. Мы идем сражаться не за то, что может быть, но за то, что существует», — говорит Мишо, и это потому, что русская культура, мощно проявившая себя уже в XIX столетии, заняла сейчас особо важное место в жизни человечества.

Герцен проявил верное историческое чутье, когда писал, что судьбы человечества не пригвождены к Западной Европе, что Россия вносит в мир новые и плодотворные начала.

Наиболее передовые русские умы, еще под гнетом царизма, в стране, еще не освобожденной от крепостной неволи, понимали, как быстро зреют творческие силы русского народа, как стремительно вырастает его мировое значение. С пророческой прозорливостью Белинский предсказывал: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке, и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

Через пятнадцать лет патристическое пророчество Белинского с юношеской страстью повторил Добролюбов:

О Русь! с каким благоговеньем
Народы взглянут на тебя,
Когда, сорвав свои оковы...
Предстанешь ты пред их судом.
Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств
Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин...

Уверенность Герцена, Белинского, Чернышевского и Добролюбова во всемирно-исторической культурной миссии русского народа опиралась на понимание характера все ускоряющегося поступательного движения русской жизни. Не застой и не реакция, не обращение к давно пережившим себя началам средневековья, как это имело место у славянофилов, обогащали и расширяли русскую культуру, а все ускорявшийся революционный процесс, постоянное обновление, постоянное движение вперед — не то мнимое движение, а на деле постоянное топтание на месте, которое признавал даже Дессер, — а истинное движение, создаваемое творческим трудом свободного народа, обогащающим мировую культуру. Все крупные завоевания гражданской, философской и научной мысли, все лучшие достижения искусства и литературы в России явились прямым или косвенным результатом народной самостоятельности, народного недовольства, непрекращающейся из поколения в поколение революционной борьбы. Официальная самодержавно-крепостническая Россия могла внушать страх, с ней часто вынуждены были считаться другие мировые державы, как с силой. Любовь и уважение в мировой семье народов снискал себе сам русский народ созданным им культурой, внутренним двигателем которой была революционная борьба за демократию и социализм. Многие это понимали не только у нас, внутри страны, но и за ее пределами.

«Русская литература, — писала Роза Люксембург, — родилась из оппозиции к господствующему режиму, из духа борьбы. Этим объясняется богатство и глубина ее духовного содержания, совершенство и оригинальность ее художественной формы, но главным образом, ее творческая и движущая общественная сила. Русская литература стала под властью царизма, как ни в одной стране и ни в какие времена, могучей силой общественной жизни и оставалась на своем посту целое столетие до тех пор, пока ее не сменила материальная мощь народных масс, пока слово не стало плотью. Именно художественная литера-

тура завоевала для полуазиатского деспотического государства место в мировой культуре, пробила возведенную самодержавием китайскую стену и построила мост между Западом и Россией для того, чтобы появиться там не в качестве только берущей, но и дающей, не только ученицей, но и наставницей».

Когда созревший рабочий класс возглавил революционную борьбу народных масс, «Россия стала очагом ленинизма, а вождь русских коммунистов Ленин — его творцом» (Сталин). Ленинизм стал «высшим достижением» русской культуры.

Союз нашей социалистической родины с двумя наиболее мощными демократиями Запада является предпосылкой гибели фашизма, этой самой обширной, самой изуверской, самой свирепой попытке свергнуть весь мир в пучину реакции. Этот союз вселяет веру в будущее, в сердца передовых людей всего мира. «Самыми счастливыми известиями на моем веку, — пишет Эптон Синклер, — являются известия о том, что моя страна и Англия объединились с Советским Союзом и дали обязательство добиться победы над фашистскими агрессорами, а также сотрудничать по обеспечению мира и проведению реконструкции после этой ужасной войны... Ход событий меняется в нашу пользу, — мы будем иметь возможность перестроить мир на лучшей основе».

Основная задача перестройки мира состоит в том, чтобы сделать невозможным в будущем повторение войн за владычество над земным шаром. Обуздать поджигателей войн, направить силы самых работоспособных мужчин не на разрушительные, а на производительные цели, заставить моторы служить только нуждам промышленности, сельского хозяйства и быта, все добытое на фабриках, на полях, в недрах земли бросить на удовлетворение мирных потребностей человека, — что может быть вышепеченнее этой цели, и как легко при этом землю превратить в образцовую мастерскую, в цветущий сад, в удобный и чудесный дом для жилья!

СССР знает, как это сделать, полити-

ка правительства СССР имеет целью осуществление этой задачи.

Страны и народы были вовлечены в иной поток, фашизм превратил убийства и войну в «нормальное» состояние, — и горе было тем государствам, которые во-время не вооружились и не подготовились для отпора. Чтобы перестроить мир на лучшей основе — надо прежде всего во всем мире взрастить ненависть к фашизму, надо сокрушить гитлеровскую Германию, истребить непрощенных оккупантов, поскольку они не выражают желания уйти добровольно, надо огнем и каленым железом выжечь коричневую чуму.

В этой титанической борьбе против гитлеризма народы Советского Союза во главе с русским народом играют особо важную роль. СССР своим сопротивлением спас современную цивилизацию. Самоотверженный подвиг СССР вызвал

восхищение и благодарность всех здравомыслящих людей мира, чувства которых очень хорошо выразил Теодор Драйзер: «Считаю честью выразить свою благодарность русскому народу за его гигантские труды на благо всего человечества, за его поразительные социальные достижения, за его героическую оборону родины от нападения сумасшедшего Гитлера. С 1917 года я следил за социальным строительством России и всегда был убежден в том, что, как говорил Макартур, «надежды цивилизации в настоящее время покоятся на достойных знаменах мужественной Красной Армии», а также на разуме, природной гуманности и социальном благородстве русского народа».

Великая Отечественная война против германского фашизма сделала очевидным для всех, что СССР оправдал связанные с ним надежды.

Библиография

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На фронтах отечественной войны и в фашистском тылу, в кровавых схватках с врагом молодые сыны и дочери нашей родины своим мужеством и бесстрашием доказали беззаветную преданность народу, большевистской партии и великому Сталину. Десятки тысяч молодых патриотов отмечены наградой правительства. Больше ста комсомольцев удостоены высокого звания Героев Советского Союза.

И вот ата-то молодежь и встает перед нами в книге «Комсомол в боях за родину».

Эта книга с предисловием М. И. Калининна издана издательством «Молодая гвардия».

В ней рассказано о золотом фонде нашего народа, — о советской молодежи, вставшей с оружием в руках по зову своей родины на защиту ее чести и свободы.

Это поколение молодежи росло, развивалось, формировало свои взгляды на жизнь под мирным и ласковым небом своей родины, в условиях гигантской созидательной работы по строительству новой жизни.

Великая хартия социализма — Сталинская Конституция — обеспечила этому поколению молодежи спокойную, богатую и радостную жизнь.

И вот 22.VI.1941 года это поколение стало свидетелем и участником грозных исторических событий, — «великой жизненной драмы, которая по своей жестокости, людским усилиям в кровавой борьбе не имеет precedентов в прошлом...»¹.

«Историческое развитие человечества идет противоречиво. Периоды эволюционного накопления молекулярных изменений сменяются кризисами, революционным разрушением политических, социальных и культурных вопросов. Очевидно, такой острый момент истории мы переживаем и в настоящее время. Благоприятное разрешение его послужит огромным стимулом для прогрессивного развития человечества...»².

¹ М. И. Калинин. Предисловие к книге «Комсомол в боях за родину».

² То же.

Этот «острый момент истории» стал боевыми буднями для молодежи наших дней.

«Перед советской молодежью и комсомолом в целом и перед совестью каждого комсомольца в отдельности встал вопрос: идти на жертвы и бороться за свою свободу или безропотно подчиниться? И наш народ, и в первую очередь молодежь, комсомол с негодованием, полные ненависти к фашистскому врагу, бесповоротно решили драться: драться не на живот, а на смерть, драться до полного разгрома врага»¹.

Где истоки той могучей силы, которая превратила юношей, еще вчера занятых мирным трудом, в отважных, грозных воинов, презирающих смерть?

Ответить на этот вопрос — значит проследить путь воспитания и становления характера молодого героя нашего времени, что и является одной из главных задач книги «Комсомол в боях за родину».

Могучая сила, ведущая советскую молодежь на смертельный бой с германским фашизмом, имеет одним из своих истоков славные боевые традиции русского народа.

«Наш комсомол — сравнительно молодая организация, но его первые кадры ковались в гражданской войне в защиту советской власти. Под руководством ленинско-сталинской партии они выковались в годы борьбы за индустриализацию нашей страны, во время коллективизации крестьянских хозяйств, в борьбе с оппортунистическими, предательскими элементами в нашей партии и комсомоле.

Все это дало возможность комсомолу накопить положительные традиции принципиальной выдержанности и стойкости в защите пролетарского государства»².

Эти традиции не являлись для молодежи чем-то сторонним, привнесенным в ее жизнь извне. Они были той средой, которая питала духовную жизнь молодежи нашего времени.

¹ М. И. Калинин. Предисловие к книге «Комсомол в боях за родину».

² То же.

Курсанты пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, вступая в его стены, сразу входили в круг славных боевых традиций этого знаменитого училища. В его стенах бывал Ленин, здесь прозвучала в 1924 году страстная речь Сталина о Ленине. Из его стен выходили красные командиры, принявшие боевое крещение в гражданской войне, бывшие дроздовцы и врангелевцы. Его воспитанники и в последние годы победоносно сражались на всех фронтах, где нужно было защищать честь Советской страны.

В дни жестоких боев, когда фашистские полчища стеною огня и стали надвигались на Тулу, молодые туляки встали в первые ряды защитников родного города.

«Они, отважные, решительные и умелые, показали себя достойными преемниками героических традиций тульских оружейников. Вместе с людьми старшего поколения громили они врага, изматывая его на подступах к родному городу. Мы гордимся юношами и девушками Тулы, умножившими славу отцов. Они вписали немало героических страниц в увлекательную летопись города...»¹

С какой великолепной гордостью молодые ленинградцы говорят о славном прошлом своего героического города, сознавая, что они являются продолжателями этого прошлого.

«...Мы выросли в городе, построенном Петром, завещавшим нам, потомкам, оберегать его детище, как зеницу ока. В жилах ленинградцев течет кровь могучих питерских пролетариев, поднявших знамя революционной борьбы в России. Мы воспитаны в революционных традициях партии Ленина—Сталина. И мы отдадим все свои силы, жизнь свою, чтобы разгромить коварного врага...»²

Славные боевые традиции русского народа входили в плоть и кровь молодого человека нашей эпохи вместе с молоком матери, вместе с теплом родной семьи. Нередко они являлись его первым жизненным опытом.

Молодой Герой Советского Союза Тимур Фрунзе познавал жизнь, слушая с детских лет рассказы о героическом пути его отца М. В. Фрунзе.

«— Знала я, — все равно пойдет воевать мой Шура, и не мне ему в этом препятствовать», — рассказывает мать Героя Советского Союза Александра Чекалина, — я в партии с 1931 года, сама сроду не трусила и детей тому не учила. Шесть лет работала председателем сельсовета, много пришлось повозиться с кулачем, да подкулачниками; иные из них меня крепко ненавидели, грозилась отомстить. Но я от правды не отступала. Мне ли Шуру от опасности отговаривать?»³

Так, непосредственно из окружающей ее жизни приняла советская молодежь боевые традиции своей родины, приняла, сберегла и умножила их славу.

Другим источником могучей силы, поднимшей на боевой подвиг советскую молодежь, является комсомол. В его рядах росла и воспитывалась лучшая часть нашей молодежи. Под его знаменами она готовила себя к испытаниям предстоявших ей боев.

«Партия предупреждала народ об угрозе войны. Мы знали, что нужно держать порох сухим. Мы воспитывали нашу молодежь так, чтобы она умела владеть боевым оружием», — пишет в своем очерке о ленинградской молодежи в дни войны секретарь ленинградского обкома ВЛКСМ тов. В. Иванов. — Это воспитание полностью оправдало себя в боях с германскими захватчиками.

В глазах советской молодежи комсомол в дни войны стал символом боевого мужества, и для такой оценки роли комсомола есть все основания.

«Из каждых пяти комсомольцев ленинградской организации четыре на фронте с оружием в руках защищают свой родной, любимый город, свою отчизну, свои права, завоеванные трудом и кровью старших поколений... В партизанские отряды ушли лучшие питомцы ленинградского комсомола, ушли многие руководители комсомольских организаций... Около 4 тысяч комсомолок работают в госпиталях, среди них студентки, школьницы...»¹

Становится понятной та зверная ненависть, которой распаляются фашисты по отношению ко всем, кто носит на сердце комсомольский билет.

«Полковник Зигерман в своем «взвешенном содхатам» пишет: «особенно безжалостно следует уничтожать молодежь, т. к. она свирепа в своей ненависти к немцам»...»

«Устранение большевистской заразы надо начинать среди молодежи», — объявил фашистский «генеральный комиссар» Кубе, орудующий в Белоруссии.²

Моральная сила советской молодежи находит свое выражение и в великих и малых делах. Прежде всего, она раскрывается в серьезном и вдумчивом отношении к себе, к жизни, в глубоком сознании своего долга перед народом, перед родиной.

У себя в записной книжке Зоя Космодемьянская записала: «Уважай себя, не переоценивай, не запирайся в свою скорлупу, не будь односторонней, не кричи, что тебя не уважают, не ценят, а больше работай над собой — и будет больше уверенности... И еще: «Упорство и мужество рождаются в преодолении препятствий...»³

Александр Чекалин, по воспоминаниям своей матери — «всякое дело обязательно доводит до конца. Твердый был. Мы уж знали: Шура сказал, значит, так и будет, — он от своего слова не отступится...»

Серьезное и вдумчивое отношение к своим обязанностям, к своему долгу, молодежь перенесла и в боевую обстановку. Летчик-комсомо-

¹ М. Ларионов. «Молодые защитники Тулы».
² В. Иванов. «Молодежь непобедимого Ленинграда».

³ Н. Чекалина. «Мой сын».

¹ В. Иванов. «Молодежь непобедимого Ленинграда».

² М. Зимьянин. «За родную Белоруссию».

³ Д. Космодемьянская. «Моя Зоя».

лец Александр Носов «на всю жизнь усвоил уважение к машине, в которую вложено громадное количество человеческого труда. Никто бережней его не относился к самолету. На войне он не разбил и не повредил ни одной машины... Недавно он получил от отца письмо. Старик за время войны тоже вырос: теперь он собирает богатырские силы». И, вспоминая старого мастера и его любовь к крылатым машинам, Носов гордится тем, что он за шестьдесят три вылета ни разу не повредил самолета. Когда его спрашивают, почему так сохранил у него машина, он в шутку отвечает:

«Отец собирает, а я берегу»¹.

Говоря о моральном облике нашей молодежи, нельзя не сказать о ее благородном стремлении быть передовыми людьми своего времени, впитать в себя все богатство культуры, чтобы потом еще лучше служить родине.

Лизу Чайкину односельчане прозвали «книжницей», вкладывая в это слово уважение и гордость за девушку из их колхоза.

Тяга к книге не покидает молодежь и в боевой обстановке. Трогательно звучит рассказ Героя Советского Союза партизана Ильи Кузьмина:

«К рассвету мы отошли на пятнадцать километров от фронта. Выстрелы доносились глухо, в лесу стояла тишина. Мы сделали привал, нарубали густых елок, соорудили большой шалаш, разожгли костер. Многие растянулись на земле. А Мишка-повар, напевая, вместе с Аней стал готовить наш первый завтрак. Неподалеку расположился Петрусь с пулеметом. А я, растянувшись под густой елкой, вынул томик стихов Маяковского...»²

Страстно любит жизнь наша молодежь, — любовью деятельной и созидательной.

Именно так любила жизнь Лиза Чайкина. «Веселая, крепкая девушка страстно любила, жизнь. Всюду она успевала, всегда умела выставить себя делать то, что нужно в первую очередь. И всегда, в малом и большом деле, она помнила, что, как вождь, должна служить примером для всей молодежи. В поле, в читальне, на соревнованиях всегда стремилась быть первой, делать лучше других»³.

Любовь к жизни, любовь к родине неразрывны для нашей молодежи. Родина дала ей все. Родина наполнила ее жизнь богатством и ярким содержанием. И в чувство любви к родине, — в это самое светлое, самое заветное чувство человека, — уходят корни моральной силы, моральной красоты молодых героев нашего времени.

Прекрасная и могучая любовь к родине породила среди нашей молодежи чувство братской дружбы, братского единения, сплачивая и еще больше укрепляя ее ряды.

«...Анна Шубенок! Я знаю, что ты своим пулями уложила многих фашистов. Гор-

жусь тобой. Знай, что когда ты — пешком ли, на коне ли, в лесу ли, в болоте ли — пробираешься, чтобы выполнить боевое задание своего партизанского отряда, я и мой «ястребок» — мы с тобой. Нам светят одни и те же звезды, Анна! Над нами одно и то же советское небо. Ты слышишь меня, Анна?»¹ С таким братским призывом обратился по радио Герой Советского Союза Виктор Талалихин к славной партизанке комсомолке Анне Шубенок.

Любовь к родине наполняет сердца молодежи твердой верой в победу над врагом. Отсюда мужество и выдержка, с которыми встречаются молодые воины испытания войны.

«...Если бы полгода назад кто-нибудь показал Любе и Шуре теперешнюю их жизнь, — осеннюю черную ночь, сумрачные, сырые, замшелые деревья — они сказали бы, что так бывает только в кино или в книгах. Но сейчас у них не было времени смотреть на себя со стороны. Они учились, как лучше копать землянку, как ходить по болотным тропам, как спать без костра на сырой земле...»²

«Мы прожили прозную, тяжелую зиму. Не колеблясь, можно сказать: вряд ли в другой стране нашлись бы люди, которые смогли бы выдержать испытания такой зимы столь твердо, как жители Ленинграда, как молодежь Ленинграда. Нашим детям и отцам не пришлось бы краснеть за нас. Нам было очень трудно, нам и сейчас не легко, но мы выходим из испытаний возмужавшими, мы выходим победителями»³.

Храбрость и бесстрашие молодежи, ее презрение к смерти удивительны.

Имена некоторых из них стали поистине легендарными. Если говорить о храбрцах из храбрецов, надо сказать о красноармейце Лазареве. Группа немецких солдат незаметно подкралась к нему. Их было много, он — один. Фашисты сзади навалились на Лазарева, обезоружили его, связали и повели к немецкому штабу.

И вдруг связанный Лазарев улыбнулся. Перед ним была — он это хорошо знал — минированная местность. И Лазарев шел, стараясь круче повернуть вправо, чтобы увлечь фашистов на минное поле.

Лазарев шел навстречу смерти и улыбался. Один из немцев задел мину, раздался страшный взрыв, несколько немцев упало. Вокруг рвались мины. Вокруг Лазарева клубился черный дым, взвивалась снежная метель. Он упал, потеряв сознание. Очнулся к вечеру. Рядом лежали трупы немецких солдат. Лазарев был тяжело ранен, но, преодолевая боль, пополз к своим. Ему удалось выбраться из минного поля, доползти до своей части...

Смелая девушка, — Вера Чертилова, — не только выносила с поля боя бойцов вместе

¹ Н. Богданов. «Лейтенант Носов».

² И. Кузнец. «Записки партизана».

³ Н. Михайлов. «Лиза Чайкина».

¹ Е. Кононенко. «Талалихин».

² Ю. Нейман. «Калининцы».

³ В. Иванов. «Молодежь непобедимого Ленинграда».

с их вооружением, но однажды, в разгаре боя, когда командир был ранен, когда немцы лезли на наши укрепления и казалось, что нет уже силы остановить их, что они лавиной сметут наши ряды, Вера Чертилова поднялась из окопа во весь рост и крикнула:

— В атаку!

Раненая, окровавленная, она шла вперед, увлекая за собой бойцов. Ее ранило второй раз, — она все шла... И бойцы отбили вражеский натиск и закрепились на новом рубеже.

Во всю силу своей любви к жизни сражаются молодые бойцы за жизнь. Они сражаются, как герои, а если нужно — умирают героями.

«Когда он (Александр Чекалин) шел на казнь, фашистские сволочи штыками кололи ему ноги — полные валенки крови были у моего Шуры. Но он шел твердо: он решил умереть хорошо».

«Люди видели, как он, смеясь, глядел в лицо своим палачам».

Стоя у виселицы, Шура запел «Интернационал». «Песня была у него на шее, а он пел. Пел про последний, решительный свой смертный бой»...¹

Десантник комсомолец Карпов решил во что бы то ни стало остановить фашистский танк. Он взял ядички с минами подмышки и бросился наперез танку.

«Раздался взрыв. Эхо этого взрыва разнеслось по всем блиндажам и окопам, призывая десантников к еще большему боевому бесстрашию. Это эхо слышит страна наша, народ, свято хранящий в сердце имена героев. Услышав этот взрыв, пусть содрогаются враги, видя свое бессилие покорить советские народы, видя близкий час отмщения. Эхо этого взрыва прокатится сквозь толщу веков. Притихнут наши правнуки, слушая былинку про человека, про красноармейца, про комсомольца, который вступил в поединок с черным танком и, пожертвовав своей жизнью, победил танк и остановил наступающего врага»...²

«Не впервые превращается наша родина в боевой лагерь. Не раз подвергалось испытанию мужество народа, не раз враги рожали, что Россия сломлена, что дороги ее покорно будут стлаться под копыта коней с чужой землей. Но народ вставал поперек этих дорог, и выбитый меч насильников падал на землю»...³

Будет день, когда меч фашистских насильников упадет из их рук на землю. Но, пока идет жестокий бой, — каждый день жизни советской молодежи — великий, самозабвенный подвиг.

Об этом подвиге волнующе сильно рассказано в книге «Комсомол в боях за родину».

Книга прочитана.

Мир этой книги — наш мир, наша горячая, боевая жизнь.

И в этой живой, органической связи книги с окружающей нас жизнью — одно из ее несомненных и главных достоинств.

Материал книги «Комсомол в боях за родину» очень разнообразен. Наряду с публицистическими статьями о жизни в дни войны и о борьбе с германскими оккупантами молодежи отдельных областей и городов (В. Иванов — «Молодежь непобедимого Ленинграда», М. Зимянин — «За родную Белоруссию», М. Ларионов — «Молодые защитники Тулы») в книге широко представлен художественный очерк.

Особенный интерес и ценность представляют собою такие человеческие документы, как рассказы матерей — Л. Космодемьянской и Н. Чекалиной о своих детях — героях Эое Космодемьянской и Шура Чекалина или скромный и бесхитростный рассказ героя-партизана Ильи Кузина о себе — «Записки партизана».

Это жанровое разнообразие придает книге особенную жизненную непосредственность.

Качественный уровень материалов, вошедших в книгу, различен. Наряду с хорошими очерками А. Гайдара, В. Кожевникова, Н. Михайлова, С. Крушинского встречаются явно слабые, как, например, поверхностный и неглубокий очерк В. Орлова или нарочитый по тону очерк Е. Кононенко о Таллахине.

Следует отметить иллюстрации в книге. Чувствуется, что при их подборе проделана большая и вдумчивая работа. Почти все документальные фотографии, хотя и не связаны непосредственно с текстом, волнуют и смотрятся с большим интересом.

Интересны и рисованные страничные иллюстрации, выполненные художниками С. Расторгуевым и Г. Балашевым, воспроизводящие отдельные боевые эпизоды. Некоторые из них по своей лаконичности, по силе выразительности равноценны тексту, описывающему тот эпизод, который изображен на этих иллюстрациях.

М. И. Калинин в своем предисловии к книге «Комсомол в боях за родину» просто и ясно определил ее значение:

«Мне бы хотелось, чтобы читатель принял эту книгу не как законченное художественное литературное произведение, а как простую товарищескую фиксацию чудесных боевых дел наших комсомольцев на фронтах отечественной войны...»

Основным критерием при оценке книги «Комсомол в боях за родину» как-раз и должен явиться ответ на вопрос: удалась ли авторам и составителям этой книги «фиксация чудесных боевых дел» нашей молодежи, показана ли в ней молодежь с должной полнотой?

На этот вопрос следует ответить утвердительно.

Бор. Сергеев

¹ Н. Чекалина. «Мой сын».
² С. Крушинский. «В лагере бесстрашных».
³ О. Крушинский. «Курсанты».

СКАЗКИ ПО-НОВОМУ *

Народные сказки, эти жемчужины поэтического творчества, навсегда сохраняются в памяти каждого не только прелестью ощущений детства, но и как первый урок правдивой житейской мудрости.

В народном творчестве познается характер народа, его отношение к тому, что делается на земле, чаяния и мечты о том, как должно устраивать жизнь.

Силу и значение народного творчества высоко оценил Пушкин. Он писал: «Вечерами слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания». Пушкин справедливо считал сказки «предвестником народной литературы». Для великого патриота и родоначальника новой русской литературы они были одним из путей сближения с народной действительностью, ибо в них угадывалось бесхитрое и смелое выражение стремлений к справедливости, разумному, честному и свободному существованию.

Этот смысл сказки сохранили и позже. О значении их для творческого формирования художника не раз писал и говорил А. М. Горький. Одно из наиболее интересных его высказываний приводит молодой писатель В. Важдас в предисловии к своей книжке «Сказки старые, да на новый лад»: «Максим Горький... говорил мне, что когда-то, в давние времена, сказка ждана и радостна не просто, а словно для нас газета была. Сказкой шла тогда по миру весть. Сказкой отзывался на нее народ. Сказка тогда боевой была».

Боевой дух в очень своеобразной форме сказался на основных традиционных русских сказках. Здесь народ выступает как хозяин своей судьбы, противопоставляя свое понимание, свои требования к жизнеустройству — укоренившимся в обществе порочным нравам и традициям. В сказках народ облекал свой протест против социального неравенства простодушной иронией, безобидной на вид насмешкой, отсутствием прямо высказанной морали. Но даже тот факт, что русский народ в самые тяжелые периоды бесправия непрерывно создавал многочисленные вариации сказок о правде и справедливости, свидетельствует о неискоренимости его оптимизма, о его душевной чистоте.

Подтверждается это, например, внутренним устремлением весьма типичной сказки об Иванушке-дурачке. Сказка эта имеет множество вариантов, но смысл их един. Старшие братья Иванушки — олицетворение удачливости, корысти, захватничества, и им как будто везет в жизни, вернее, должно везти, ибо их поведение великом соответствует установившимся нормам. Но их удачливость по сути дела не встречает в народе ни сочувствия, ни зависти. Все симпатии сосредоточены на образе младшего брата — Иванушки, невидном, неказистом, как будто мало расторопном, но идущем в жизни прямым, честным путем.

Когда вдумываешься в смысл этой сказки, как-то сама собой выкристаллизовывается ясная, недвусмысленная мораль. Счастья и любви, почестей и уважения достойны те, кто честен и смело приходит на помощь ближнему, кто не стремится к легкой наживе за чужой счет, кто трудом, борьбой и подвигом облагораживает свою жизнь. Старшие братья Иванушки суют вокруг себя смерть и несчастья, Иванушка побеждает смерть.

Жизненный путь старших братьев как будто легче и успешней, а на самом деле путь Иванушки хоть труднее, но верней. Умница Иванушка прозван в сказке дурачком иронически, но ирония эта вовсе не означает презрительного отношения к нему сказочника. Автор сказки как бы повторяет ходячую житейскую премудрость своего времени: если небогат, некрасив, если не умеет поживиться за чужой счет и удачно устроить свои дела любой ценой, значит — дурачок. Вот хапуги, рвачи, мироеды — те ума палата. Этот тезис необходим сказочнику для того, чтобы на перипетиях жизненной судьбы героев опровергнуть укоренившееся мнение. Ведь на деле оказывается, что самый умный из братьев — младший, Иванушка. Ум его сказывается прежде всего в том, что Иванушка, не задумываясь, отказывается от легкой наживы, надеется не на пронырливость, а на свои честные усилия, и настоящая удача приходит к нему законмерно, как итог его честной жизненной борьбы.

Обо всем этом невольно задумываешься, читая сказки Важдаса. Автор этих сказок понял благородный пафос справедливости, которым проникнута русская народная сказка.

В беспримурной битве сегодняшних дней свободолюбивые народы отстаивают не только свою территорию, но и честь, независимость, культуру — все, что накоплено и создано вековыми усилиями, творческим гением и талантом народов.

Фактор морального превосходства сил тех, кто борется против фашизма, зиждется, в частности, и на том, что наш народ несет сознание своей исторической правоты. Оно выразилось в замечательных чертах русского национального характера. Вот почему воины Красной Армии и весь советский народ отвечают врагу не только грозным боевым оружием и непреклонным мужеством, но и разяг его саркастической насмешкой. В огне боев рождается ядовитый юмор присказок, частушек, побасенок, поговорок. Так в новом обличье выступает исконная народная сказка.

Отметить ее рождение, помочь ее росту — такова задача первой небольшой книжечки Важдаса. Автор использует для этого сюжеты нескольких широко известных сказок — «Репка», «Терем-теремок», «Золотая рыбка», «Волк и семеро козлят», «Мальчик с пальчик». Сказано это, как правило, настолько талантливо и умело, настолько в духе их внутреннего смысла, что порой кажется, они так и были задуманы, что порой кажется, они так и были задуманы.

* Виктор Важдас. «Сказки старые, да на новый лад». ОГИЗ, Гослитиздат, 1942.

мамы про Гитлера и его банду. «Посадил народ репку. Выросла репка большая-пребольшая. Не чета другим. Вот какая выросла репка. Прибежал из Берлина Гитлер, ухватился за советскую репку: тянет-потянет, вытянуть не может...»

Сказка, развиваясь просто и естественно, показывает, как, несмотря на объединенные усилия наспех сколоченной гитлеровской коалиции, устояла «советская репка», не в пример прочим (французской, финской, румынской и т. д.), и не только устояла, а обнаружила такие корни, о которые предстоит расшибить лбы всей гитлеровской камарилье.

Сказка «Терем-теремок» использована, как повод для очень смешного показа волчьего гитлеровского логова. Очень удачно — в духе народных определений — дана здесь характеристика главарей гитлеровской граб-армии.

Главный герой — сам «Фюрер» — рекомендует себя так: «Я волк, всех за горло хватя». Соответственно отрекомендованы и его подручные: «Геббельзяна — всех передразниш, все переверниш», «страшный крыс Гиммлер — везде проскочиш, на всех доносиш» и, наконец, «арийская свинья». «Хрюк на вас — Геринг».

Доходчиво и просто показывает автор звериную сущность расовой теории и пресловутого «нового порядка», к которому стремится волчья свора из гитлеровского зверинца. «Теоретические» основания для провозглашения расового превосходства сформулированы с лаковой издевкой. Волк заявляет: «Да как они смеют на себя трудиться, когда должны нас — высшую расу — кормить, поить, улаживать. Ведь у каждого из нас на две ноги больше, чем у людей!»

Вся суть «нового порядка» выражена в сатирической декларации фашистского теремка. «Мы наводним весь мир рыком, храпом, хрюком, хрустом!»

Мы всех людей поставим на четвереньки! Мы заставим их обходиться одним всеобъемлющим и прекрасным словом «хайль»! Таков будет новый порядок! вперед!»

Традиционный сюжет сказки о золотой рыбке не в бровь, а в глаз бьет по гитлеровскому авантюризму. Подобно вздорной, глупой и жадной бабе, пожелавшей стать владычицей моря, Гитлер оказывается у разбитого корыта. В этой сказке интересен злой, сатири-

ческий портрет пресловутого фюрера:

«Ни на море, ни на окяне, ни на острове Буяне, ни в ветхой избушке, а в старой пивнушке за недопитой кружкой сидел отставной ефрейтор, — ни художник, ни маляр, ни купец, ни работник, ни архитектор и ни плотник, — а так, пропащий человек, заблудыжный, по имени Адольф, по фамилии Шикльгрубер. Был он на руку нечист, на слово речист, на обещания падох, да гадох — сам худой, голова редькой, нос щучий, глаза горильи, а усики бантиком. Чудно даже!»

Сказка «Волк и семеро козлят» кажется как бы сродненной для того, чтобы показать вероломство, провокацию и обман — эти основы гитлеровской политики. Наибольшей удачей автора в этой сказке является созданная им песня Волка, которая метко характеризует ложь, подлость и лицемерие, пускаемые в ход для оккупации территорий малых государств и порабощения их народов:

Козлятушки, ребятушки!
Чешечки, словакушки!
Отопритесь, отворитесь,
Ваша мать пришла — молока принесла.
Полны бока молока, полны рога творога,
Полны копытца водицы!

Менее удачна в книжке сказка «Мальчик с пальчик». Положенный в ее основу сюжет не дает возможности развернуть тему о советских партизанах. Автору приходится слишком свободно обращаться со сказочными мотивами и прибегать к столь многочисленным отступлениям, что теряется представление о первоначальном зерне сказки.

Сделанное Важдыаевым — лишь первый опыт, но он со всей несомненностью свидетельствует о том, что сейчас, когда сказкой по миру разносится весть о героизме, доблести и мужестве советских воинов, народ несет сказку в качестве своего нового боевого идейного оружия.

Те перлы народного творчества, которые рождаются сейчас на полях отечественной войны, конечно, будут собраны и вписаны в общую летопись славы, чтобы помочь будущим поколениям увидеть ту силу гнева, презрения и сарказма, которой ответил на подлое нашествие фашистской своры весь советский народ.

О. Резник



ДУША СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА *

Каждый день скупые сводки Советского Информбюро приносят все новые и новые сообщения о беспримерном мужестве наших людей, отстаивающих с оружием в руках честь и независимость своей родины.

Дело художника — за краткими строками фронтовой корреспонденции увидеть прекрасное лицо советского человека наших дней.

К сожалению, далеко не всегда наши писатели справляются с великой и почетной задачей, поставленной перед ними эпохой. Часто в газетном сообщении о подвиге советского воина литератор видит в первую очередь лишь внеш-

* А. Л. Михалевиц, В. Л. Овечкин. «Степной дозор», «Советский писатель», 1942.

ний контур событий, не умея за этими событиями разглядеть духовный облик их участника. Ценность небольшой книжки Ал. Михалевича и Вл. Овечкина как-раз в том и заключается, что, рисуя советского человека в дни отечественной войны, они не столько заняты внешней динамикой его поступков, сколько стремятся изобразить внутренние, глубинные переживания и чувства этого человека, увлекающего на героические подвиги во славу родины.

В рассказе «Как он жил» о героической смерти водителя гусеничного трактора-тягача Павла Рудакова, устремившего свою машину в гущу врагов и погибшего, сорвавшись с крутого обрыва, сказано очень немного, только самое необходимое. Жизнь же этого знатного человека, тракториста-орденоносца, его внутренний облик раскрыты с большой полнотой, с яркой силой художественной убедительности. Авторы интересуют сокровенные внутренние переживания Павла Рудакова. Говоря о рекордах, прославивших тракториста, они пишут: «Конечно, выработка характеризовала человека в главном — в труде, в отношении к колхозному делу, однако голые цифры еще не раскрывали глубоко его душевного мира». И авторы берут на себя задачу показать этот душевный мир, раскрыть его богатство и красоту. Это им удается. Перед нами простой, скромный крестьянский парень, ставший знатым трактористом. Та поэтическая жилка, которую отмечают в нем авторы, проходит сквозь всю его жизнь. «Колхозный строй разбудил в нем талант и силу творца. Сталин вдохнул в его душу вечно живые мысли и беспокойное стремление ввысь», — пишут авторы. Правдив и обаятелен нарисованный ими образ. Читатель понимает, что побудило Павла совершить тот героический подвиг, о котором сообщается в начале рассказа. Такой человек не мог поступить иначе.

В рассказе «Степной дорогой» люди еще не успели прославить себя никакими подвигами. Мобилизованные в первые дни войны, они только направляются на призыв, но в их беседах раскрывается огромная моральная стойкость и стальное единство советского народа, его способность к самопожертвованию во имя родины. И старый казак Яков Афанасьевич, и молодой чудаковатый крепыш Зинченко объединены одним стремлением разгромить и уничтожить врага, чтобы «воевать в последний раз», чтобы «на нас кончилось», и дети с внуками были после победы прочно и навсегда счастливы. «Сколько нас было здесь, стахановцев, столько на фронте и героев будет», — в этих словах выражено нерушимое единство нашего фронта и тыла, готовность

людей мирного труда в любую минуту взяться за оружие.

Рассказ «Сестра Сталина» переносит нас в обстановку советского тыла. Напряженны тыловые будни. Ни минуты нельзя оставаться спокойным, считать себя изолированным от фронта, недаром колхозные сторожа день и ночь наблюдают за воздухом, — не появятся ли вражеские стервятники. И сама героиня рассказа — стахановка Прасковья Михайловна Бондаренко, только-что избранная председателем колхоза взамен призванного в армию, чувствует себя, как на фронте, в сложной и ответственной обстановке военных дней. Каждый центнер хлеба — «бомба на голову Гитлера», каждая борозда «поперек брюха ему пройдет, кишки ему выпустит». Вот почему надо быть собранным и подтянутым, ощущая себя в боевой готовности не меньше, чем боец, идущий в атаку.

Особенно высокую ответственность возлагают на работников тыла слова товарища Сталина, обращенные им к советским людям в первые дни войны: «Как он призывал: братья, сестры! Сестры... «Это он назвал ее сестрой. Так она и есть. Все — родине. Одной семьей строили, одной семьей идем в бой защищать. Надеется он на нас, как на каменную гору. Сделаем, товарищ Сталин, сделаем, родной!...» и читатель верит, что Прасковья Михайловна справится с возложенной на нее задачей. Поручкой тому вся жизнь этой простой русской женщины, встающая перед ней в воспоминаниях в тот день, когда ее избирают председателем колхоза.

В построении всех трех рассказов есть нечто общее. Это общее в преобладании показа размышляющих людей над изображением их в действии. Мы постарались показать оправданность этого приема в книге Михалевича и Овечкина. Отсюда, разумеется, не следует, что мы стремимся канонизировать отмеченную нами особенность рассказов Михалевича и Овечкина для их творчества, а тем более для всей нашей литературы. Уже у рецензируемых авторов кое-где их манера из достоинства превращается в недостаток. Как ни значительны сами по себе размышления Прасковьи Михайловны, мы бы хотели, чтобы они были дополнены более ярким изображением первого председательского дня. Вряд ли можно признать вполне удачным введение мотива сна в рассказ старого казака Якова Афанасьевича в его воспоминания о дореволюционном прошлом. Но все это частности, которые ни в малой степени не зачеркивают того положительного, что несет с собой книжка.

Вл. Афанасьев

Редакция: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов Депутатов трудящихся СССР».

A61270.

8 печ. листов. Тираж 40.000. Зак. 1257.

Подписано к печати 11/VIII—15/VIII—1942 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.